

Полина
Дашкова

Голов тупик



Полина Дашкова

Горлов тупик

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус) 6-44

Дашкова П. В.

Горлов тупик / П. В. Дашкова — «Издательство АСТ», 2019

ISBN 978-5-17-110702-4

Он потерял все: офицерское звание, высокую должность, зарплату, отдельную квартиру. Дело, которое он вел, развалилось. Подследственные освобождены и объявлены невиновными. Но он не собирается сдаваться. Он сохранил веру в себя и в свою особую миссию. Он начинает жизнь заново, выстраивает блестящую карьеру, обрастает влиятельными знакомыми. Генералы КГБ и сотрудники Международного отдела ЦК считают его своим, полезным, надежным, и не подозревают, что он использует их в сложной спецоперации, которую многие годы разрабатывает в одиночку. Он докажет существование вражеского заговора и виновность бывших подследственных. Никто не знает об его тайных планах. Никто не пытается ему помешать. Никто, кроме девятнадцатилетней девочки, сироты из грязной коммуналки в Горловом тупике. Но ее давно нет на свете. Она лишь призрак, который является к нему бессонными ночами. Действие романа охватывает четверть века — с 1952 по 1977 годы. Сюжет основан на реальных событиях.

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус) 6-44

ISBN 978-5-17-110702-4

© Дашкова П. В., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	12
Глава третья	20
Глава четвертая	30
Глава пятая	38
Глава шестая	47
Глава седьмая	53
Глава восьмая	61
Глава девятая	71
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Полина Дашкова

Горлов тупик

Если факт не сдается, его уничтожают.

Л. В. Шебаршин, последний начальник внешней разведки СССР, из афоризмов.

Глава первая

Она являлась к нему ночами много лет подряд.

Он просыпался от шороха своих пересохших губ, от хриплого шепота: «Уходи, уходи!»

За два с лишним десятилетия ее ночные визиты слились, перепутались. Но самый первый он помнил отчетливо.

Тот год оказался худшим в его жизни. Он потерял все: офицерское звание, власть, престиж, высокую зарплату, паек. Из отдельной казенной квартиры пришлось вернуться к матери в коммуналку. Он еще легко отделался, его сослуживцам повезло меньше. Одних посадили, других расстреляли. Он уцелел, остался на свободе и сдаваться не собирался. Ему было двадцать восемь. Он сорок раз отжимался от пола и подтягивался на турнике, пробегал в максимальном темпе десять километров, без одышки, сердцебиения и мышечной слабости. У него были отличная память, острое чутье, быстрые реакции. Он знал, чего хочет, и умел хранить это в тайне.

Однажды ночью она возникла между ширмой и раскладушкой, на которой он спал. Не разобравшись спросонья, в чем дело, он спросил:

– Ты?

Она не ответила. Он задал следующий вопрос:

– Что тебе нужно?

Опять молчание.

Тот первый ее визит не сильно испугал его, сразу нашлось объяснение: усталость, нервы. Мать проснулась от скрипа раскладушки, села на кровати, проворчала:

– Что ты вертишься?

– Плохой сон приснился, – объяснил он шепотом.

Она исчезла на рассвете, и к полудню он забыл о ней. Но через неделю все повторилось. Потом опять и опять.

Он накрывался с головой одеялом, зарывался лицом в подушку и все равно ясно видел ее. Она стояла босая, в спущенных чулках, и смотрела на него круглыми сизыми глазами. Мокрое платье липло к телу, с волос текли извилистые ручейки. Рядом валялась пуховая шаль, поблескивал один аккуратный круглоносый бот с пуговками на небольшом каблуке.

Он вставал, стараясь не шуметь, не разбудить мать, отправлялся бродить по длинному коммунальному коридору. Движение успокаивало, но она то и дело вставала на пути.

Он беззвучно напевал бодрые песни, прокручивал в голове хорошие фильмы: «Волга-Волга», «Подвиг разведчика», «Падение Берлина», вспоминал любимые праздники, разукрашенную флагами и портретами Красную площадь. Ее силуэт терялся в толпе, вытеснялся стройными марширующими рядами физкультурников, таял под гусеницами танков, не оставляя следа на брусчатке. Он облегченно вздыхал. Но тут из кухни выскальзывала соседская кошка, шипела, изгибалась дугой. Шерсть вставала дыбом на кошачьем загривке, и он понимал: она никуда не делась, кошка чувствует ее, видит так же ясно, как он.

Из его горла вылетал беззвучный крик:

– Вали отсюда, вражина, сволочь!

Кошка испуганно убегала, а она по-прежнему стояла неподвижно и смотрела ему в глаза. Он размахивался, бил. Кулак пробивал пустоту.

Москва, январь 1977

* * *

У Никиты резались зубы. Два нижних передних показались месяц назад, а верхние все никак не желали вылезать. Десна распухла, покраснела. Он плакал днем и ночью, успокаивался только на руках. Приходилось носить его по квартире, да еще петь. Лена мерила шагами тридцать четыре необжитых метра на двенадцатом, последнем этаже панельной новостройки, сипло напевала весь известный ей репертуар Окуджавы, Высоцкого, Визбора. Стоило замолчать, остановиться – опять крик.

Это продолжалось бесконечно, с перерывами на кормление, переодевание, купание. О прогулке пока оставалось только мечтать, единственный зимний комбинезон Никита прописал насквозь, после стирки отжать как следует не получилось, комбинезон все не высыхал, а другой теплой одежды не было.

Семь шагов от балконной двери до матраца. Пять от Никитиной кровати до письменного стола. Еще пять мимо комода, двухстворчатого шкафа и новогодней елки.

У Лены немели руки, подкашивались колени, кружилась голова. Она то и дело задевала елку, сыпалась хвоя, качались и позванивали стеклянные колокольчики. Серебристый космонавт в красном шлеме сорвался с ветки, разбился вдребезги. Лена хотела взять веник, смести осколки вместе с хвоей, но Никита поднял рев, когда она попыталась уложить его в кровать.

Петь она больше не могла, репертуар закончился, повторять одно и то же, как заевшая пластинка, надоело. Она принялась рассказывать Никите бесконечную сказку про медвежонка Васю, которую сочиняла с детства.

Прототипом главного героя был плюшевый мишка, его подарил дедушка, когда Лене исполнилось шесть лет. Светло-коричневый, маленький, он удобно помещался на детской ладони. Его блестящие стеклянные глазки казались зрячими, лапы двигались, голова крутилась и слегка покачивалась, пластмассовый нос был холодным, а плюшевая шерстка – теплой. В детстве Лена верила, что он живое существо, просто притворяется игрушкой. Прежде чем попасть к ней, медвежонок прожил большую сложную жизнь и так устал, что решил пока помолчать. Она сама за него говорила, сочиняла его бурное прошлое, с приключениями, опасностями, злыми колдунами, верными друзьями.

Медвежонок-сирота скитался по миру в поисках своей родни, умел плавать, как рыба, летать, как птица. Он то и дело попадал в разные истории, иногда просто глупые, иногда страшные, опасные для жизни.

Когда Лене исполнилось двенадцать, медвежонок обнаружил следы своей потерянной родни в Англии. Но добраться туда ему никак не удавалось. Приключения продолжались до сих пор. Плюшевый Вася спокойно сидел на письменном столе. Вася сказочный чудом выжил после очередного кораблекрушения и очутился на необитаемом острове.

– Он промок до нитки, замерз и проголодался, – бормотала Лена, – на острове ничего не было, кроме серых валунов, поросших мхом и лишайником, да гигантских деревьев, с такими толстыми и твердыми стволами, что Васе они казались крепостными стенами...

Никита успокоился, но спать не собирался, слушал очень внимательно. За окном сложилась ледяная хмарь, не поймешь, рассвет или сумерки. Лена забыла завести часы и потеряла счет времени. Ветер выл тоскливо и безнадежно. Она повернула ручку желто-черного динамика.

– Повышенные обязательства взяли на себя труженики полей, – бодро пролаял женский голос, – говорит бригадир комбайнеров, передовик, делегат съезда, товарищ Тебякин.

Никита опять заплакал. Лена приглушила радио, заговорила чуть громче:

– В прогалине между камнями скопилось немного пресной дождевой воды. Вася попил, потом нашел какие-то засохшие темно-красные ягоды, они оказались горькими, но голод уто-

лили. Чтобы согреться, обсохнуть, поспать, он набрал мха и сухих листьев, залез в дупло, закрыл глазки... Ш-ш-ш...

– Наша бригада, кагрица, крепко держит знамя победителей социалистического соревнования, кагрица, не подведем родную коммунистическую партию, весь советский народ, наполним закрома родины, кагрица, – монотонным тенором бубнил товарищ Тебякин.

– Кагрица, – задумчиво повторила Лена и продолжила сказку: – Кто-то защекотал медвежонку пятки. Из темноты на него глядели три круглых глаза – зеленый, желтый и красный. Вася узнал свою давнюю знакомую, гусеницу по имени Кагрица, прилипалу и зануду, но даже ей был рад, очень уж не хотелось оказаться на этом мрачном острове в полном одиночестве.

Наконец прозвучало:

– Московское время семнадцать часов. В эфире последние известия.

Лена выключила радио, продолжая бормотать, осторожно уложила Никиту в кровать. Он сердито заворчал, но не проснулся. Она подкрутила стрелки будильника и наручных часов, подмела пол.

В ванной ее ждала замоченная груда ползунков, пеленок, распашонок, марлевых подгузников. Она равнодушно подумала, что надо бы постирать, чистого почти не осталось, вздохнула, махнула рукой, вернулась в комнату, рухнула на матрац, хотела поспать немного, но живот свело от голода.

В холодильнике было пусто. От новогоднего стола остался кусок торта с розовым кремом. Лена называла такие «комбиджир с одеколоном» и с детства терпеть не могла. Антон слопал все и не догадался перед отъездом закупить хоть какой-нибудь еды. Пришлось ограничиться чаем с вареной сгущенкой и куском черного хлеба с половинкой заветренного плавленого сырка.

Конечно, если позвонить маме и бабушке, они приедут, привезут еду, возьмут на себя Никитку и дадут ей, наконец, поспать хотя бы пару часов. Но ближайший автомат через квартал, придется нестись галопом. Никитка спит тревожно, проснуться может в любую минуту, испугается, заплачет. Дед и мама сейчас на работе. Деду в клинику с первой попытки вряд ли дозвонишься. Маму в ее лаборатории поймать проще, но звонить ей совсем не хочется. Она возненавидит Антона еще больше, скажет: «Вот видишь, я права, он лгун и шельма!»

Из девятнадцати лет Лениной жизни еще ни один год не начинался так ужасно. Она рассорилась вдрызг с тремя самыми близкими людьми – с мамой, дедом, мужем. Новенькая квартира на двенадцатом этаже обещала столько счастья, а превратилась в предмет отвратительной семейной склоки.

– «Подвинься, – сказала Кагрица, – а то разлежся, как у себя дома. Это вообще-то мое дупло». Вася поджал лапы. Кагрица ворочалась, щеконала его своими жесткими щетинками, мигала разноцветными глазами в темноте. Шершавые стены дупла освещались красным, желтым, зеленым. Вася искал свою родню, а Кагрица искала место, где сумеет превратиться из гусеницы в бабочку. Она давно собиралась это сделать, но всегда что-нибудь мешало – дождь, солнце, жара, холод, простуда, выхлопные газы, интриги завистников.

Никита крепко спал, Лена рассказывала сказку самой себе, чтобы не заплакать.

* * *

В самолете начальник Управления достал из портфеля бутылку и предложил выпить.

– Александр Владимирович, вы же не пьете, – напомнил полковник Уфимцев.

– Кухня там специфическая, может вызвать расстройство желудка и даже отравление, надо профилактироваться. – Маленькая круглая физиономия начальника сморщилась в брезгливой гримасе, он стал похож на обиженного младенца.

Стюардесса принесла толстобокие граненые стаканы с кубиками льда, тарелки с закуской. Военный атташе сразу вывалил лед из своего стакана на блюдо. Начальник протянул бутылку Уфимцеву.

– Открой-ка, Юра.

Это был шотландский виски «Johnny Walker» двадцатилетней выдержки, с энергичным джентльменом в красном фраке и черном цилиндре на этикетке. Уфимцев отвинтил крышку, налил строго по ранжиру: сначала начальнику, потом послу, потом военному атташе, наконец себе.

Атташе хмыкнул:

– Джонни Уолкер – Ваня-пешеход.

Старая шутка никого не рассмешила. Посол обильно разбавил виски колой. Чокнулись молча, без тостов. Атташе выпил залпом, пробормотал:

– Ох, крепка советская власть! – и занюхал рукавом пиджака от «Brooks Brothers».

Посол лишь пригубил, сразу отставил стакан. Уфимцев отхлебнул немного, закусил долькой шоколада.

– А вы, Юрий Глебович, я смотрю, совсем американцем стали, – вкрадчиво заметил посол, – только они закусывают виски сладким.

– Или разбавляют колой, – равнодушно парировал Уфимцев, поглядывая на начальника.

Начальник пил медленно, с отвращением, словно ему налили рыбьего жира. Он совсем раскис, лицо побелело, лоб и лысина покрылись капельками пота. Руки тряслись, лед позванивал в стакане. Долгий перелет из московской зимы в жаркое лето Восточной Африки и двое суток в шумном вонючем Утукку дались ему тяжело, а личное знакомство с президентом республики Нуберро, Бессменным и Бессмертным Птипу Гуагахи ибн Халед ибн Дуду аль Каква едва не довело до инфаркта.

Древнее королевство Нуберро с 1890-го было провинцией единого британского протектората. Страну населяло сорок семь разноязычных племен. Привнесенные извне ислам, протестантизм и католицизм причудливо переплетались с местным язычеством.

После провозглашения независимости в 1962-м сохранилась монархия, король Раян Дауд ибн Укаб аль Чва Первый поддерживал добрые отношения с Британией и США. Вся иностранная собственность осталась неприкосновенной. Вдоль побережья озера Елизавета и у подножия Драконовых гор размещались британские и американские военные базы. На фоне соседних стран, где после падения колониальных режимов кипели гражданские войны и власть менялась чаще, чем времена года, Королевство Нуберро казалось оазисом тишины и благополучия. Работали школы, больницы, электростанции, железные дороги. Экспорт хлопка, кофе, какао, алмазов и золота давал неплохой доход. Белые фермеры, бизнесмены, миссионеры и туристы чувствовали себя в полной безопасности. Тишина и благополучие держались на трех китах: тайная полиция, грамотная пропаганда и непререкаемый авторитет короля.

Советская пресса горячо сочувствовала угнетенному народу, проклинала расистов-империалистов-колонизаторов и называла короля Чва марионеткой Вашингтона.

Птипу Гуагахи ибн Халед ибн Дуду аль Каква, отпрыск рода вождей племени Каква, возглавлял одну из экстремистских группировок, организацию «Копье нации», которая, по мнению консультантов Международного отдела ЦК КПСС, африканистов со Старой площади, являлась национально-освободительной, идеологически близкой и наиболее прогрессивной. Штаб-квартира «Копья» находилась в Ливии, за голову Птипу тайная полиция предлагала сто миллионов нуберрийских фунтов.

Вожди Каква издревле конкурировали с правящей династией Чва, считали свой род более благородным и достойным королевской власти. Британцы поддерживали Чва и всячески подавляли Каква, поскольку последние практиковали ритуальное людоедство. Каква ненавидели британцев. Птипу и его «Копье» получали от СССР деньги и оружие.

В ноябре 1972-го Дауд Чва Первый внезапно скончался в возрасте пятидесяти лет. Его старший сын, наследный принц Рашид Вуови ибн Раян Дауд аль Чва изучал международное право в Оксфорде, увлекался леворадикальными идеями, цитировал Троцкого и Мао, баловался марихуаной, обожал «Битлз» и «Роллинг стоунз», разъезжал по Утукку за рулем алого кабриолета без охраны, в сопровождении юной блондинки, которую вместе с кабриолетом привез из Англии. Блондинка звала его «Риччи», закидывала длинные голые ноги на панель управления, курила, с веселым любопытством поглядывая по сторонам сквозь солнцезащитные очки. Поэт и убежденный вегетарианец, Рашид аль Чва запретил сафари, отменил смертную казнь, объявил всеобщую амнистию, ввел обязательное среднее образование, совместное обучение мальчиков и девочек и отправился праздновать свой двадцать четвертый день рождения в Лондон.

Когда он возвращался домой, самолет был сбит на подлете к Утукку неизвестной ракетой. В ту же ночь границу пересекли хорошо вооруженные отряды «Копья нации». К ним присоединились орды бойцов разных радикальных группировок и уголовники, которых великодушный Рашид аль Чва амнистировал и выпустил из тюрем. Началась народная революция, ее радостно приветствовала пресса социалистических стран. Боевики захватили Радиокомитет, Птипу выступил в прямом эфире, сообщил, что королевский самолет сбила ракета, выпущенная с британской авиабазы, и призвал убивать всех англоговорящих белых, обоего пола и любого возраста.

Вооруженные толпы атаковали королевский дворец, здания министерств и тайной полиции, громили банки, гостиницы, магазины. Британцы и американцы спешно эвакуировались под охраной своих военных. Птипу объявил Нуберро республикой, себя президентом, бывших королевских министров – предателями нации, а британо-американскую собственность – народным достоянием. О судьбе королевских детей, жен и прочих родственников он промолчал. С тех пор никто никогда их не видел. Династия Чва, правившая страной больше пятисот лет, исчезла, словно и вовсе не существовала.

Через месяц после начала своего правления Птипу сообщил по радио, что ему во сне явился Аллах, велел установить шариат и строить в Нуберро исламский социализм. Специальным указом были запрещены кино и театр. С улиц Утукку почти исчезли женщины, а те, что появлялись, были закутаны в черное с головы до пят. По пятницам на центральной площади рубили головы предателям родины. Других массовых зрелищ не было.

Аллах вновь явился ему во сне и велел убивать христиан, ибо они источник всех бед. К тому моменту в стране оставалась единственная католическая миссия во главе со стариком-епископом. Птипу приказал доставить старика во дворец, спросил, как дела, как здоровье, предложил встать на колени, помолиться за светлое будущее Нуберро и выстрелил ему в затылок из своего знаменитого золотого пистолета.

В третий раз Аллах явился и велел объявить войну Америке. Американского посольства уже не было, посреднические функции выполняло посольство Нидерландов. Птипу вызвал посла и вручил ему ноту – объявление войны Америке. Посол вежливо выслушал, принял ноту и удалился. Никакой ответной реакции не последовало. Птипу подождал неделю и сообщил по радио, что молчание США означает их капитуляцию, затем устроил грандиозное празднование победы над американским империализмом и позволил женщинам из племен ходить по улицам без паранджи.

Два года назад, в январе 1975-го, Птипу побывал в Москве с официальным визитом, получил пионерский галстук в Артеке, форму моряка Краснознаменного Черноморского флота в Севастополе, памятную медаль в Волгограде у Мамаева кургана, каску и молот метростроителя на московском заводе «Динамо», орден Октябрьской Революции в Георгиевском зале Кремля, а также горячие троекратные поцелуи Леонида Ильича при встрече и расставании.

Кроме красных галстуков, дипломов, орденов и генсековских лобзаний африканские товарищи получали от СССР беспроцентные денежные займы, станки и оборудование для построения социалистической экономики, оружие для продолжения освободительной борьбы, комбайны для будущих колхозов. В Африку отправлялись тысячи советских военных советников, инженеров, врачей, преподавателей вузов.

Леонид Ильич любил африканских товарищей и ни в чем им не отказывал. Он радушно принимал императора Эфиопии Хайли Селассие Первого, потом лобызал и одаривал президента Менгисту Хайле Мариама, который придушил подушкой императора Селассие с целью построения социализма в Эфиопии. Желанными гостями были людоед Жан Бадель Бокасса, самокоронованный император Центральной Африканской Республики и молодой полковник Муаммар Каддафи, ливийский диктатор, бедуин с грязными ногтями, объявивший себя «королем-философом».

Но никто не мог сравниться с Птипу. Бессменный-Бессмертный в начале шестидесятых учился в Москве, в Институте дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Когда он заговорил по-русски, с трогательным акцентом, Леонид Ильич прослезился и стал звать его «Петюней».

Глава вторая

На прежней своей службе он легко переносил бессонные ночи. Там главная работа выпадала как раз на ночь, график был скользящий, можно отоспаться днем. Многие его товарищи теряли сон, а он отключался мгновенно, в любое время суток, стоило лишь уронить голову на подушку. Не мешали ни шум, ни яркий свет. Трех-четырёх часов сна хватало, чтобы потом чувствовать себя отлично.

Теперь бессонницы стали мучением, голова тяжелела, мысли путались. Вот для чего она являлась к нему ночами: заморочить, сбить с толку.

Тикал будильник, скрипела открытая форточка, трепетали ситцевые занавески. Он пытался успокоиться, ни о чем не думать, просто считал – один, два, три, и так до тысячи, потом в обратном порядке, но сквозь аккуратный частокол чисел все отчетливей проглядывал ее силуэт. Надо было обязательно поспать хотя бы час, но она не давала, стояла и смотрела.

Младший брат матери, дядя Валентин, когда ругался с женой, ночевал у них. Мать стелила ему ватное одеяло на пол. К полуночи оба храпели, Валентин – ровно, монотонно, мать – прерывисто, с причмокиванием, всхлипами, присвистами. Храп не мешал, наоборот, убаюкивал, но стоило задремать – она тут как тут.

В темноте зрение и слух обострялись, он различал мельчайшие детали. Атласное бежевое платье пропиталось жидкостью, покрылось темными разводами и приобрело мерзкий леопардовый окрас. Две пуговицы у ворота оторвались с мясом, на их месте зияли дырки. Волосы, когда-то пепельно-русые, вившиеся мягкими волнами, теперь висели вдоль щек серой паклей. Ресницы слиплись и казались черными. Разве он позволял ей красить ресницы? Разве он звал ее? Как смела она являться к нему в таком виде?

Он пытался прогнать ее, угрожал, оскорблял. Она понимала его. Понимала, но не подчинялась, делала что хотела, возникала и пропадала когда ей вздумается. Он сжимал кулаки. На мякоти ладоней оставались глубокие красные следы от ногтей. Он все не мог привыкнуть, что больше не имеет над ней власти.

Темные капли с ее платья падали прямо на лицо спящего дяди, но тот не шевелился, не морищился, продолжал спокойно храпеть.

Утром на полу поблескивало мокрое пятно. У него гремело сердце. Мать ворчала:

– Надо же, сколько снегу намело из форточки!

Ночью мела метель, однако пятно было слишком далеко от окна. В комнате витал сладковатый аромат ее духов, с примесью нафталина от котиковой шубки, и едва уловимая вонь, влажно-гнилостная, неясного происхождения.

Он спросил:

– Мам, чем это пахнет?

Мать пошевелила ноздрями, сморщилась:

– У Фоминой манная каша опять подгорела, Степаныч вчера за пивом бегал, бидон уронил в коридоре, ни одна сука не догадалась подтереть. Вот и воняет.

Однажды за завтраком он заметил на подоконнике мокрую пуховую шаль. Она медленно, вяло шевелилась, как медуза, выброшенная на берег, испускала мутный зеленоватый пар, тихо шипела и постепенно превращалась в нечто совсем другое, вполне обычное, безобидное.

Он залпом допил чай, откашлялся в кулак и обратился к матери:

– Смотри, что там такое?

Мать вытаращила глаза, вскочила, всплеснула руками и радостно заулыбалась:

– Ох, а я-то уж не надеялась, думала – все, сперли такую дорогую вещь импортную, а он вот он-он, туточки! Нашелся, слаф-те хос-спади!

Вместо шали с подоконника свисал недавно потерянный мохеровый шарф дяди Валентина, синий в красную клетку, и совершенно сухой.

* * *

Это было всего лишь воспоминание, оно могло бы стать зыбким и нестрашным, как случайный ночной кошмар. Могло исчезнуть за давностью лет. Но оно возвращалось. Каждый год в начале января Надежда Семеновна Ласкина переживала приступы страха. Ее пугал шорох шин по утрамбованному снегу, визг тормозов, шаги и голоса за спиной. Она чувствовала, как тянется к плечу железная лапа, и бежала по скользкому тротуару. Сердце прыгало у горла, подкашивались колени, была дрожь, позади звучал топот догоняющих ног. Она ныряла в какой-нибудь темный двор, подальше от фонарного света, и замирала.

В выходные она старалась вырваться из дома под любым предлогом, благо на работе всегда находились сверхсрочные дела. Но иногда уйти не удавалось. Дома, в замкнутом пространстве, приступы проходили тяжелей, чем на улице. Она пряталась в ванной, включала воду, куталась в халат и сидела на коврике, сжавшись в комок, стиснув колени, пока не полегчает.

Она убедила своих близких, что с ней давно все в порядке. Старая травма зарубцевалась, больше не болит и не пугает. Несколько раз папа видел ее лицо до и после приступа и потом долго не мог забыть, очень тактично, робко пытался поговорить.

Может, правда, стоило выговориться?

Много лет назад, когда травма была совсем свежей, она пробовала рассказать родителям, как все происходило, что с ней делали и что она при этом чувствовала. Но губы застывали, голос пропадал. Мама говорила: «Не надо, не вспоминай, не буди лиха, пока оно тихо». А папа плакал. Тогда она решила молчать. Включился древний инстинкт: ужас нельзя называть по имени. «Не буди лиха...» Но подлость в том, что тихое, неразбуженное лихо все равно не спит.

Утро пятого января 1977-го было морозным, сверкали под фонарями сугробы, в чернильно-лиловом небе мигали звезды. Надежда Семеновна шла своим обычным маршрутом, через проходные дворы, по переулку, мимо сберкассы, к трамвайной остановке. Позади зазвучали шаги и мужские голоса. У нее пересохло во рту и сжался желудок. Вот сейчас лапа ляжет на плечо, и она услышит: «Надюха, привет! Не узнаешь? А я тебя сразу узнал. Ты на первом курсе, я на третьем».

Двое за спиной безобидно матерились, обсуждали свои семейные дела и недавние новогодние праздники. А ей чудилось:

«Слушай, я на машине, давай подвезу, нам по дороге, ты на экзамен, и я на экзамен. Сегодня что сдаешь?»

Возникло знакомое ощущение железных пальцев, сжимающих локти. Воспоминание навалилось ледяной волной и заслонило реальность.

Незнакомец в каракулевой ушанке, в массивном синем пальто с каракулевым воротником фальшиво и развязно изображал своего в доску, студента-медика, который по доброте душевной предлагает подбросить ее до института. Она до сих пор не могла простить себе, что на секунду поверила. Институт большой, она только на первом курсе, невозможно запомнить всех в лицо. Его товарищ, одетый точно так же, молчал. Они схватили ее за локти и потащили к сверкающему лаком большому черному автомобилю, припаркованному на углу. В тусклом фонарном свете виднелся силуэт водителя.

«Ты даже не сопротивлялась! – твердил суровый внутренний голос. – У тебя была секунда, ты потратила ее на детский самообман. Хотя бы заорала, позвала на помощь, попыталась вырваться, убежать».

Тем далеким темным утром никто не услышал бы ее крика. Звенел трамвай, где-то рядом выла сирена – то ли пожарные, то ли «Скорая». Железные пальцы вцепились намертво. Не вырвешься. Все продолжалось не долее двух минут. Бесполезно было сопротивляться, но до сих пор жег стыд за свою рабскую покорность.

Арию студента-медика каракулевый допел уже в машине: «Ну, Надюха, поехали на экзамен, ща сдавать будем анатомию с физиологией». Они с товарищем весело заржали, мотор взревел, автомобиль помчался на небывалой для тогдашней Москвы скорости.

«Не помню, какое сегодня число, забыла, какой месяц», – утешала себя Надежда Семеновна в последней робкой попытке смягчить приступ.

У ларька «Прием стеклотары» блестела под фонарем большая глубокая лужа, в радужных бензиновых разводах плавали окурки и всякая мерзость. Лужа не замерзала в морозы, не высыхала под летним солнцем. Пару лет назад тут перекладывали асфальт, но она все равно никуда не делась. Лужа была вечной. Очередь алкашей, старух и подростков огибала ее круглой скобкой, жалась к стене дома. «Стеклотара» открывалась в восемь, но ларечница всегда опаздывала. Очередь терпеливо мерзла.

Басок за спиной бубнил:

– Я этсамое, значит, грю, не жрал я твою курицу, блядь, сама слопала, на хуй а на меня валишь, бока-то, блядь, наела, грю, поперек себя шире, в дверь не пролазишь, этсамое.

– Да ты че?! Прям так и сказал – на хуй? – сипел простуженный тенор. – А она че?

– Сквородку, блядь, чугунную хватъ из-под курицы и на меня поперла, этсамое, убью на хуй, грит.

– А ты че?

– Ну, че, блядь? Увернулся и пендаля ей под зад коленкой.

– А она че?

Диалогу аккомпанировал гулкий стук пустых бутылок в капроновых авоськах. Надежда Семеновна зажала рот варежкой. Ее душил нервный смех, который легко мог обернуться слезами и тошнотой. Она семенила по гололедице, не хотела бежать, но кинулась через дорогу. На другой стороне улицы стоял дом с глубокой темной аркой. Завизжали тормоза, из-за поворота, слепя фарами, выехал грузовик. Ее обдало вонью бензина и выхлопных газов, она чудом не попала под колеса. Водитель притормозил, открыл окно и громко выругался. Она нырнула в арку, вжалась спиной в ледяную кирпичную стену и застыла.

Она понимала: нет никакой внешней опасности. Невозможно убежать и спрятаться от того, что случилось много лет назад. Понимала, но ничего поделать не могла. Она переставала быть собой, превращалась в нечто безликое, мягкое, съедобное. Страх прогрызал дыру во времени и оживал в виде причудливой паукообразной твари, тянул из нее силы, питался ее энергией.

Нажравшись, тварь отваливалась и с омерзительным чмокающим звуком просачивалась сквозь ледяной асфальт назад, в небытие.

С трудом переставляя ноги, Надежда Семеновна поплелась к остановке. В утренней трамвайной давке согрелась, опомнилась. Медленный, ритмичный стук колес, просьбы передать мелочь, ворчание: «Не толкайтесь!», рожица, нацарапанная детским ноготком на заиндевевшем окне, – все это, знакомое, будничное, возвращало ее к реальности.

Она пыталась рассуждать здраво: «В твоём прошлом есть прореха, черная дыра, но ты уцелела, все кончилось хорошо. Ты взрослая, разумная, вполне счастливая женщина, у тебя дочь – умница-красавица, чудесный маленький внук, ты кандидат наук, доцент, Бог даст, допишешь и защитишь докторскую. В тебе ничего не осталось от той беспомощной затравленной девочки. Ничего, кроме шрамов на запястьях и седины. В юности седина выглядела дико, сейчас – вполне нормально, к тому же ты давно научилась ее закрашивать. А шрамы почти не заметны. Забудь, наконец».

Рассуждения не помогали. В такие минуты вся ее жизнь представлялась лишь жалкой попыткой убежать и спрятаться. Она выбрала самую опасную медицинскую специальность: эпидемиолог.

Сражалась с невидимой смертельной заразой, верила, что постоянный риск закалит ее, освободит от унижительного страха.

Месяцами работала в очагах эпидемий в Туркмении и Казахстане, на сорокаградусной жаре в противочумном костюме вскрывала раздутые трупы. Под обстрелом, без резиновых перчаток, принимала роды у больной сифилисом в Анголе. Лечила от холеры колдунов вуду в Бенине, членов тайных братств в Кении и наркоторговцев в Таджикистане. Вводила противovoспенную вакцину младенцам в калмыцких степных юртах, в дагестанских аулах, в нищих африканских селениях и вшивых городских трущобах. Перебиралась по веревочному мосту через реку Глер, кишашую крокодилами, в Нуберро.

Она научилась видеть смерть по-взрослому, без всяких мистических бубенцов, трезво оценивала реальные опасности, не теряла головы, справлялась со стрессами, но опасность призрачная, мнимая, вызывала у нее суеверную панику. Воспоминание было ее проклятием, тяжестью и темнотой глубоко внутри, в сердцевине каждого мгновения.

* * *

Вячеслав Олегович Галанов планировал освободиться пораньше. Семестр закончился, в институте до начала экзаменов никаких дел, только консультация у третьекурсников, с одиннадцати до двенадцати. Потом заскочить в «Елисеевский», взять заказ. Он мечтал поскорее скинуть все дела, вернуться домой, побыть в одиночестве, посидеть над своими черновиками. Он устал от застолий. Новогодние праздники, как обычно, длились с конца декабря до середины января. Завтра предстояло ехать на дачу, они с Оксаной Васильевной опять ждали гостей.

На консультацию явилось восемь студентов из сорока двух, причем те, которые и так могли сдать экзамен на «отлично». Вячеслав Олегович ответил на их вопросы, поболтал о литературных новинках и без пятнадцати двенадцать вышел из аудитории.

За дверью притаился сюрприз: студент азербайджанец Мамедов, мужик лет тридцати, здоровенный, пузатый, с полным ртом золотых зубов. Во время летней сессии Вячеслав Олегович не поставил ему зачет. В течение семестра Мамедов трижды пытался пересдать, но так и не сумел ответить ни на один вопрос. Его тупость и наглость раздражали, рука не поднималась чиркнуть «зачт.», как это делали в таких случаях другие.

Судя по выпученным глазам и красной роже, Мамедов отступать не собирался. Понятно, с понедельника начиналась зимняя сессия.

– Минэ к ызамын ны дапускат!

Мамедов зашагал рядом по узкому коридору, помахивая раскрытой зачеткой. Старый паркет жалобно скрипел под его тяжелой поступью.

– И правильно! – огрызнулся Галанов.

– Нычэво ны правылно! Стыпэндью ваще ны дают!

– Вы, Мамедов, лекции пропускаете, учитесь четвертый год, а по-русски говорить грамотно не умеете. – Галанов покосился на его изумрудный, с золотой искрой галстук и ускорил шаг.

Мимо сновали преподаватели, студенты, приходилось жаться к стене. Коля Лоскутов, завкафедрой художественного перевода, поравнявшись с Галановым, шепнул сочувственно:

– Слав, лучше поставь, не отвяжется.

Первокурсница с семинара поэзии обогнала их на повороте, улыбнулась:

– Здравствуйте, Вячеслав Олегович.

«Катенька! – Сердце нежно вздрогнуло. – Надо же, не забыла мое имя, смотрит, улыбается».

Он ничем не выдал своих чувств, сохранил серьезность, холодно кивнул в ответ:

– Добрый день.

Ее звали Катя Снегирева. Он принимал у нее вступительный экзамен по литературе, запомнил сразу, настолько была хороша. Нежный овал лица, высокая шея, гордая посадка головы – будто оживший портрет кисти Боровиковского. Он старался не смотреть в ее большие темные глаза, слишком опасно. На экзамене спрашивал нарочито строго и поставил «отлично» вовсе не за очарование, а за безупречные знания.

Она проскользнула мимо, он проводил ее взглядом, мысленно расстегнул молнию клетчатой шерстяной юбки, стянул через голову мешковатый серый свитер, вытащил шпильки из тяжелого узла на затылке и слотнул, представив, как рассыпаются длинные каштановые волосы по обнаженным плечам. Наваждение продолжалось не более секунды. Катя исчезла, на ее месте соткалась из воздуха дородная фигура Оксаны Васильевны, сурово погрозила пальцем и тоже исчезла. Галанов взглянул на часы. Без десяти двенадцать.

– Стыпэндью ны плотют, матпомощь даже ны дают! – канючил Мамедов. – Я выучил! Высо зынаю! Сыпрасы лубой вапырос! Прам щас сыпрасы, давай!

– Во вторник в четыре зайдите на кафедру, поговорим.

– Выторнык?! Нэт, нэлзя выторнык!

Дверь учебной части открылась, в проеме появилась завуч Наталья Ильинична.

– Вячеслав Олегович, можно вас на минуту? Мамедов, подождите в коридоре.

В просторном кабинете пахло кофе. В кресле у окна раскинулся секретарь парторганизации, завкафедрой марксизма-ленинизма Володя Романчук, полный, лысый, с добрым испитым лицом. К нему на подлокотник молодецки присел семидесятилетний поэт Григорий Озеркин, в черном кожаном пиджаке поверх алой водолазки, подтянутый, без пуза, трижды разведенный, четырежды женатый. Он руководил семинаром поэзии, на котором училась Катя. У стола, закинув ногу на ногу, сидела приглашенная преподавательница грузинской литературы Тина Чкония, тонкая синеглазая брюнетка, с мальчишеской стрижкой и крупными бриллиантами в ушах.

– О, Слава, вот и ты, – радостно воскликнул Романчук.

– Кофе хотите? – спросила грузинка.

Она говорила по-русски почти без акцента, голос низкий, глубокий, волнующий.

Галанов поздоровался со всеми, от кофе отказался, взглянул на часы: двенадцать без семи.

– Вячеслав Олегович, тут у нас такая история. – Наталья Ильинична одернула жакет и поправила прическу. – Да вы присядьте, в ногах правды нет.

– Видите ли, я спешу очень. – Галанов нервно кашлянул.

– Поспесишь – людей насмешишь. – Романчук хихикнул и ткнул Озеркина локтем в бок.

Тот хихикнул в ответ, соскользнул с подлокотника, взял Галанова за плечи и почти насильно усадил в соседнее кресло.

– Ну, братцы дорогие, – взмолился Вячеслав Олегович, – не тяните kota за хвост, честное слово, ждут меня.

Вдруг показалось, что ждет вовсе не Оксана Васильевна завтра на даче, а Катя в его «Волге» во дворе, сегодня, сейчас. Перед глазами помчались непрошенные видения. Он садится за руль, они целуются и едут сначала к служебному входу «Елисеевского», потом к нему в пустую квартиру у метро «Аэропорт». На заднем сиденье – пакеты с заказом: осетр горячего копчения в промасленной бумаге, палка финского сервелата, две пачки тончайших польских галет, цейлонский чай, кофе «арабика», марокканские апельсины, венгерские яблоки. Запас на

несколько безумных суток. Запереть все замки, выключить телефон. Никаких дачных застолий, никаких гостей, никакой Оксаны Васильевны, и гори все синим пламенем...

– О чем задумался, детина? – долетел до него сквозь сладостный туман бодрый голос Озеркина.

Он решительно тряхнул головой, видения исчезли.

– А тортик? – ласково предложила завуч. – Свеженький, только из кулинарии.

– Вы же знаете, я не ем сладкого! – Получилось слишком громко, грубо, он выдавил виноватую улыбку и добавил: – Спасибо, Наталья Ильинична.

– На нет и суда нет. – Она вздохнула и заговорила совсем другим, строгим официальным тоном: – Вячеслав Олегович, у вас на семинаре учится студент Логлидзе Нодар Вахтангович.

– Есть такой. – Он вспомнил рыжего худощавого грузинского юношу с жидкой бородкой а-ля Добролюбов. – Способный, но звезд с неба не хватает и пропускает много.

– Вот именно! – Завуч подняла вверх палец и стала похожа на грозящую Оксану Васильевну. – На ноябрьские уехал домой в Кутаиси, вернулся только двадцатого.

– Знаю, – кивнул Галанов, – болел, в больнице лежал. Разве справку не предъявил?

– Предъявил. – Завуч шагнула к столу, вытащила медицинский бланк. – Все как положено, печати, подписи на месте, только написано по-грузински.

– Правильно, больница же в Кутаиси. – Галанов опять взглянул на часы.

Двенадцать ноль-пять. Прасковья Петровна предупредила, что работает сегодня до часа. Потом придет сменщица. Хотелось успеть, застать Прасковью, сменщицы обязательно что-нибудь путают, забывают положить самое вкусное. От института на машине минут пятнадцать. Повороты, светофоры, одностороннее движение. Пешком добежишь быстро, но назад, к машине, тащить громоздкие пакеты неудобно.

– Я тоже так подумала, – продолжала завуч, – документ как документ, Логлидзе к зимней сессии допущен, «хвостов» не имеет, учится без троек. А вот вчера бумаги разбирала, и зашла Тина Георгиевна, заметила справку на грузинском.

В дверь постучали, появилась черная голова Мамедова:

– Ызвынаюс, рышили мой вопрос уже?

Все молча уставились на Галанова: решать ему, никто за него Мамедову зачет не поставит. А поставить придется, потому что Мамедов родной племянник известной партийной шишки в Баку, шишка в приятельских отношениях с ректором института, с кем-то в ЦК, в КГБ и чуть ли не с самим Леонидом Ильичом. Не давать такому стипендию и матпомощь – подвиг вольнодумства, об отчислении речи быть не может.

Галанов безнадежно махнул рукой.

– Зайдите, Мамедов.

Племянник ввалился, протянул зачетку вместе с шариковой ручкой. В прозрачной трубке плавала в глицерине красotka, то в купальнике, то без купальника. Галанов чиркнул в нужной графе «зачт.», расписался.

– Сыпасыба, – сверкнула золотая улыбка.

– Не за что. Идите.

Племянник шагнул к двери, но вдруг остановился, посмотрел на завуча и спросил:

– А как насычет стыпэнди?

Наталья Ильинична густо покраснела, всплеснула руками:

– Совесть есть у вас, Мамедов?! Стипендию получают студенты, которые учатся без троек, у вас, Мамедов, ни одной четверки, вам «удовлетворительно» с трудом натягивают.

– У кого тройки, таму матыпомош.

– Голодаете? – ласково спросил Романчук. – На хлеб не хватает?

– Нэт! – Племянник возмущенно запыхтел. – Кушаю хорошо! Паложыно матыпомош мынэ!

– Идите, Мамедов! – рявкнул Вячеслав Олегович. – Идите, а то я ваш зачет аннулирую!

– Ны нада! – Племянник спрятал зачетку в карман и выкатился.

– Иди, сын мой, и больше греши, – пропел Озеркин, когда дверь за ним закрылась.

– Вот бесстыжий, – завуч фыркнула, – выдали ему бесплатный проездной, а он на «Волге» новенькой по Москве разъезжает, в общежитии комнату за ним держим отдельную, а он трехкомнатную квартиру на Арбате снимает.

Озеркин тихо присвистнул, Романчук покачал головой:

– Ну уж и на Арбате! Ну уж и трехкомнатную!

Вячеслав Олегович выругался про себя: «Плевать, на чем разъезжает, что и где снимает, сейчас два часа будут обсуждать».

– Так что там с Логлидзе? – спросил он, в очередной раз взглянув на часы.

– Ах, да. – Тина надела очки и стала читать своим глубоким волнующим голосом: – «Справка дана гражданину Логлидзе Нодару Вахтанговичу, 1958 года рождения, в том, что 8 ноября сего года он был экстренно госпитализирован и прооперирован в больнице номер 10 города Кутаиси по поводу внематочной беременности. К занятиям в институте может приступить с двадцатого ноября сего года. Освобожден от физкультуры на два месяца».

Романчук прыснул.

– Второй раз эту песню слушаю, не могу!

– А нам с тобой, Слава, особенно смешно, – Озеркин подмигнул, – мы с тобой ему рекомендации в партию давали.

– У него кандидатский стаж в феврале заканчивается. – Романчук икнул и высморкался. – Что будем делать?

– Я не хотела навредить мальчику, – медленно произнесла Тина, – прочитала и перевела машинально. Я говорила Наталье Ильиничне и вам повторю: не надо это раздувать. Зачем портить жизнь ребенку?

– Ребенку! – Завуч передернула плечами. – Взрослый мужик, и нахал к тому же. Почему они так написали? Поиздеваться решили?

– Да бог с вами, Наталья Ильинична, – синие глаза Тины вспыхнули, бледные щеки порозовели, – разве они знали, что здесь, в Москве, в учебной части, кто-то сумеет перевести с грузинского? Никогда себе не прощу...

– Ну, все равно, – смягчилась завуч, – другое что-нибудь не могли сочинить? Аппендицит или, там, гланды?

– Не могли. – Тина решительно помотала головой. – Вдруг напишут, а потом правда случится? Накаркать боялись. Внематочная беременность мальчику точно не грозит, вот и написали.

– Логично. – Галанов нервно усмехнулся.

– Делать что будем? – повторил Романчук.

– Слав, ты сказал, он способный. – Озеркин поцокал языком и сдвинул в задумчивости седые брови. – Может, пропесочим хорошенько у нас на партбюро и пусть учится? Зачем сор из избы выносить?

– Способный, – кивнул Галанов, – по сравнению с Мамедовым вообще гений.

Зазвонил телефон. Завуч ответила:

– Да, Оксана Васильевна, здравствуйте, да, тут, у нас.

Галанов взял трубку, услышал возбужденный голос жены:

– Славик, уф, хорошо, застала тебя, а мы тут с Клавой зашиваемся, Сошников звонил, он в командировку не уехал, прийти хочет, и Федя Уралец с каким-то приятелем, еще Дерябины пожалуют в полном составе, в общем, по итогам человек пятнадцать будет.

За окном, в институтском дворе, возле памятника Герцену стояла группа студентов, они что-то бурно обсуждали, жестикулировали, курили. Среди них Катя в коротком овчинном тулупчике, в ярком бирюзовом платке.

– Скатерть сложи аккуратно в пакет, – журчала трубка, – ну, ту, с красными петушками, вилок двенадцать штук, только не серебряных, а мельхиоровых...

Катя слепила снежок и бросила в белобрысого обалдуя с семинара драматургии. Обалдуй обнял Катю, повалил в сугроб, они резвились в снегу, как щенки, их счастливый визг долетал сквозь приоткрытую форточку.

– Во втором ящике, смотри, не забудь... Гвоздика сухая, в буфете, где пряности... Как только вернешься домой, сразу перезвони мне!

– Да, да, – повторял Галанов, покорно кивая.

Глава третья

По утрам он давился синеватой манкой, сплевывал рыхлые комочки, мазал на хлеб комбизир вместо масла, хлебал мутный чай и вспоминал вкус черной икры, ананасов, апельсинов, парной телятины. В этой вонючей коммуналке он родился, вырос и еще ребенком точно знал: надо вылезать из дерьма во что бы то ни стало. Хотелось жить в отдельной квартире, спать на просторной мягкой кровати, есть вкусную еду. Не просто хотелось, а полагалось по праву, потому что он не такой, как все. Он лучше, умней, других. Он с детства чувствовал, что поднимется очень высоко, сделает блестящую карьеру. Так и случилось. Он поверил в свои силы, осознал свою особую миссию. Но они сбили его на взлете, швырнули назад, в дерьмо. Пришлось начинать все сначала.

Его рабочий день длился с пяти утра до десяти вечера. Он устроился монтером-путейцем в метро. Метрополитен и принадлежность к рабочему классу давали солидные преимущества при поступлении в вуз. Днем вкалывал, вечером ходил на подготовительные курсы в Институт стран Азии и Африки. Хотел выучить восточные языки, прочитать в подлиннике все, что его интересовало, добраться до истоков древнего зла.

Он глотал библиотечную пыль, фильтровал информацию, собирал факты, делал выводы. Чем больше узнавал, тем ясней понимал, что они – не люди. Иной вид, иной состав крови. Биологические механизмы, человекообразные паразиты. Они живут, как крысы, меняют кожу, как змеи, приспосабливаются к внешней среде, как тараканы. Они проникают во все поры общества, влияют на политику, финансы, культуру, развязывают войны, разрушают государства, совращают молодежь.

Иногда, отрываясь от книги или порывавшей подшивки старых газет, он украдкой оглядывал тихий читальный зал. Среди лиц, подсвеченных настольными лампами, он безошибочно узнавал их личины. Они обложили его со всех сторон, следили за каждым шагом. По утрам сновали мимо под видом торопливых прохожих, днем, за обедом в метростроевской столовке, присаживались к нему за стол под видом простодушных говорливых коллег. Вечерами в институте их было особенно много. Одни готовились к поступлению, другие уже стали студентами, преподавателями, профессорами. Он разговаривал с ними, смеялся их шуткам, рассказывал анекдоты, которые смешили их. Всему свое время, они не должны догадаться, что ему о них все известно.

Ночами являлась она. Лишь он один видел ее, поскольку обладал сверхъестественными способностями, видел незримое, понимал тайное.

В коммуналке не было никаких удобств, кроме струйки ржавой водицы из крана в общей кухне да оглушительно вонючего сортира, одного на двадцать семей, с вечными засорами и газетными обрывками, нанизанными на гвоздь. По воскресеньям приходилось посещать общественную баню.

Он ненавидел смрадный туман, лавки, пропитанные потом и мыльной слизью, влажные казенные простыни в желтых разводах, цинковые шайки с неровными, будто обглоданными краями, брызги в лицо от взмахов чужих мочалок. Особая банная акустика делала каждый звук преувеличенно громким, гулко-тягучим. Какофония голосов, смеха, грохота воды, звона шаяк разрывала мозг.

В тумане маячили силуэты голых мужиков. Обвислая кожа, сгорбленные спины, вздутые животы, костлявые ноги в разводах распухших вен, наколки, шрамы, фурункулы. Он подцепил ногтевой грибок. Из гардеробной сперли габардиновое пальто. Мать предупреждала: носи телогрейку! Но и телогрейку сперли, и последние приличные ботинки. Теплую нижнюю фуфайку вместе с кальсонами какая-то мразь вынесла из предбанника, пока он мылся. Он написал заявление в райотдел милиции, разумеется, без толку.

Однажды беззубый дед с культей вместо правой руки обратился к нему «сынوك», попросил потереть спину и облить из шайки. Он выполнил просьбу и вдруг осознал, что теряет себя, становится безликой частицей скотской массы. Голый среди голых, равный среди равных.

* * *

Полковник Уфимцев Юрий Глебович четвертый год торчал в Нуберро. За это время в гостях у Бессменного-Бессмертного успели побывать самые высокие советские чиновники, от Косыгина до Громыко. Птипу ревниво следил, все ли важные птицы из СССР и стран соцлагеря почтили его визитами. Гостей он селил на единственной приличной вилле, уцелевшей после крушения колониализма, неподалеку от президентского дворца, и старался поразить их воображение своим могуществом.

Делегации чехов на торжественном обеде был предложен десерт из мозга обезьянок, которым заживо сжимали тисками головы и мгновенным движением мачете сносили полчерепа. Товарищей из Министерства обороны Польши потчевали ритуальным забоем слона. Его совершало раз в году братство Леопарда племени Каква. Всем присутствующим полагалось мазать лица теплой слоновьей кровью и пить ее из чаши, по кругу. Высокопоставленных сотрудников Штази пригласили на берег реки Глер, полюбоваться праздником «Торжество справедливости». Из тюрьмы привезли еще живых после пыток представителей «пятой колонны» и на глазах немецких чекистов бросали в реку, кишашую крокодилами.

Товарищу Косыгину Птипу попытался подарить дюжину двенадцатилетних девственниц. Заметив реакцию Алексея Николаевича, понимающе подмигнул и предложил мальчиков. Категорический отказ от подарка воспринял как личную обиду, загладить которую сумела только очередная крупная поставка «калашниковых».

Товарищ Громыко на торжественном банкете обнаружил в своей тарелке несколько странных предметов, которые при ближайшем рассмотрении оказались детскими пальчиками. Знаменитая выдержка министра иностранных дел на этот раз изменила ему. Андрей Андреевич вскочил и заметался по залу, зажав рот ладонью. Никто, включая посла, не успел понять, в чем дело. Полковник Уфимцев вовремя пришел на помощь, быстро проводил товарища Громыко к ближайшему сортиру. Бессменный-Бессмертный мастерски разыграл искреннее недоумение:

– Я приказал подать вам королевский деликатес! Если с блюдом что-то не так, я прикажу отрубить голову повару!

– Все в порядке, ваше высокопревосходительство, не беспокойтесь, блюдо прекрасное, просто товарищ Громыко неважно себя чувствует после долгого перелета, – поспешил ответить за министра полковник Уфимцев.

Наконец настал черед начальника Первого Главного управления КГБ генерал-полковника Кручины Александра Владимировича.

Кручина был не стар, всего пятьдесят три, фанатично следил за здоровьем, накануне отлета в Нуберро сделал все положенные прививки, взял с собой упаковку одноразовых медицинских перчаток, кучу антисептиков.

Полковник Уфимцев приехал в аэропорт встречать самолет Кручины и скромно ждал в сторонке. В честь дорогого гостя на аэродроме выстроился босоногий почетный караул в коротких штанах с винтовками времен Первой мировой. Как только самолет приземлился, оркестр заиграл гимн СССР.

К трапу подрулил черный «роллс-ройс», из него вылез сам Птипу, великан двухметрового роста, весом килограмм сто пятьдесят. На нем была белая адмиральская форма с золотыми аксельбантами и бриллиантовыми орденами, у пояса висела сабля в золотых ножнах, усыпанных драгоценными камнями. Орден Октябрьской Революции болтался где-то между ног.

За спиной президента маячил Закария Раббани, высокий широкоплечий ливиец в полувоенном френче цвета хаки и красно-белом бедуинском платке на голове. Светлокожий, с европейскими чертами, он выглядел и вел себя как ходячий манекен. Лицо, разрубленное поперек на три части черными бровями и усами, абсолютно ничего не выражало.

После визита в СССР Птипу взял за правило целоваться с гостями при встрече и расставании. Маленького хрупкого Кручину он поймал, как кот воробья, на нижних ступеньках трапа и смачно облобызал в обе щеки своими толстыми мокрыми губами.

Первое, что услышал Уфимцев от шефа, был панический шепот:

– Юра, где тут умыться?

Уфимцев протянул ему влажные антисептические салфетки и поймал подозрительный взгляд ливийца.

Поцелуй запечатлели сразу несколько фотографов и операторов с камерами. Кручина привык, что его визиты за границу всегда строго секретны.

– Пресса? Телевидение? – спросил он тревожно.

– Александр Владимирович, в этой стране нет ни прессы, ни телевидения, только радио.

– Так какого лешего они снимают?

– На память, для истории, – объяснил Уфимцев и подумал: «А ведь я предупреждал. Погодите, то ли еще будет!»

Во дворце на торжественном обеде Кручина обнаружил у себя в тарелке бело-розовое полупрозрачное нечто, размером и формой напоминающее мячик для пинг-понга. Генерал сильно побледнел, хотя был готов к разным сюрпризам, получал от Уфимцева подробные отчеты о нуберрийских приключениях Косыгина и Громыко. Между тем Птипу поднимал тост за крепкую нуберрийско-советскую дружбу, за победу социализма во всем мире, за здоровье дорогого товарища Брежнева.

Спиртного на столе не было, все-таки мусульманская страна. Пили гранатовый сок и чистую воду. Птипу внимательно следил за Кручиной, посмеивался.

– Александр Владимирович, глаз не настоящий, резиновый, – тихо соврал Уфимцев, чтобы успокоить начальника.

Кручина не поверил, но нашел в себе силы встать и произнести ответную речь. Поблагодарил хозяина за гостеприимство, пожелал ему здоровья и процветания свободолюбивому народу Нуберро.

После обеда автомобильный эскорт отправился на экскурсию по столице.

При англичанах центр города был застроен элегантными невысокими зданиями в викторианском стиле. По обеим сторонам улиц росли апельсиновые, лимонные и манговые деревья. Частные виллы, гостиницы, офисы банков, алмазных, кофейных и хлопковых компаний прятались в тени финиковых и кокосовых пальм, древних раскидистых баобабов и сикомор. В парках зеленели подстриженные газоны и цвели фантастические африканские цветы. Не выключалось электричество, работали водопровод и канализация. Университет, Национальный театр, музей антропологии и археологии открылись в начале двадцатых и закрылись в 1972-м. От колониализма остались полуразрушенные грязные фасады, завешенные изображениями Птипу в разных позах и нарядах, да пара асфальтовых трасс – от аэропорта до дворца и от дворца до центральной площади.

Городские улицы были покрыты красной глиной, она раскисала под дождем, трескалась под солнцем, превращалась в розовую пыль, от которой слезились глаза и першило в горле. Обочины заросли диким кустарником, в нем прятались змеи. На стволах деревьев гроздьями висели летучие мыши.

Вдоль асфальтовой трассы выстроились мужчины в пестрых одеждах. Они размахивали флажками, прыгали и громко кричали. Так полагалось приветствовать вовсе не гостя, а Бессменного-Бессмертного, когда он появлялся в городе.

На Центральной площади Кручину ждал очередной сюрприз. После арабо-израильской войны Птипу воздвиг памятник Гитлеру, назло евреям. Потом, чтобы не обижать советских друзей, поставил напротив памятник Сталину. Так они и стояли, оба из черного мрамора, на высоких гранитных постаментах, одинакового размера, в одинаковых позах, с воздетыми друг другу навстречу правыми руками. Кручина вжал голову в плечи и притворился, что не узнал ни того, ни другого.

Поднявшись на балкон уцелевшего здания бывшей мэрии, гость и хозяин смотрели концерт. На площади между Гитлером и Сталиным под звуки тамтамов женщины племени Лан, обмазанные охрой, в набедренных повязках из перьев, исполнили древний ритуальный танец, в бешеном ритме трясали мощными грудями и выдающимися шарообразными ягодицами. Детский хор на языке, которые они считали русским, исполнил «Подмосковные вечера». Затем началось карнавальное шествие. Прошли пляшущей походкой представители разных племен, женщины и мужчины, обнаженные до пояса, увешанные бусами и браслетами. Двухметровые, тонкие, как тростник, шоколадные чва, коренастые угольно-черные каква, крошечные светло-кожие пигмеи с плоскими монголоидными лицами. Потом проковыляли беззубые старички в поношенной, с чужого плеча, полувоенной форме, на погонах блестели пуговицы. Ходячие скелеты, редчайшие живые артефакты – средняя продолжительность жизни в Нуберро не превышала сорока лет у мужчин, тридцати восьми у женщин. За старичками прошагало несколько босоногих рот регулярных войск. Следом явились взводы маленьких милиционеров и пожарных в медных касках, мальчики от семи до десяти.

Внезапно стемнело, подул ветер, вздымая волны розовой пыли, и хлынул ливень. Казалось, с неба бьют водяные струи из сотни тысяч брандспойтов. Дети как ни в чем не бывало продолжали маршировать, с явным удовольствием шлепая босыми ногами по размокшей глине.

На следующее утро Кручине устроили экскурсию в тюрьму, показали камеры, карцеры, комнаты пыток, лазарет и морг. Ни одного живого заключенного экскурсанты не увидели. Директор тюрьмы, полный, благообразный каква в белом европейском костюме, рассказывал на невнятной смеси английского и суахили, каких успехов добилась пенитенциарная система Нуберро при благословенном правлении Его Высокопревосходительства. Полный титул состоял из пятидесяти четырех слов, ровно на двадцать слов длиннее титула британской королевы. Каждый чиновник обязан был знать их наизусть и при любом упоминании Бессменного-Бессмертного произносить все до единого. Пропуск слова в титуле мог стоить головы, поэтому речь директора состояла из бесконечных повторений. На деликатный вопрос Кручины, где же заключенные, он ответил, поблескивая стеклами очков в тонкой золотой оправе, что каждое утро их отправляют работать на хлопковые плантации.

В здании воняло нечистотами, жужжали тучи мух, стены были изъедены грибом. В морге на цинковых столах лежало несколько обнаженных истерзанных трупов. Экскурсанты отворачивались и прикрывали носы платками.

Следующим номером программы значилась встреча с начальником тайной полиции. Ливиец Закария Раббани со своей командой занимал здание бывшего Национального театра. Но кортеж проехал мимо, и стало ясно, что встреча состоится в президентском дворце. Уфимцев ничего иного не ожидал, а Кручина уже устал удивляться.

Бессменный-Бессмертный принял их в тронном зале. Он восседал на высоком позолоченном троне, наряженный в белоснежный арабский балахон. У подножия трона на низких стульчиках сидели две из его тридцати семи жен, девочки лет четырнадцати, в черных хиджабах. Каждая держала на коленях по младенцу не старше года. Раббани появился из глубины зала, все в том же френче и платке.

– Империалисты-сионисты хотят завоевать весь мир, установить свои порядки, – начал Птипу на суахили, – мы должны плечом к плечу сплотиться в борьбе против гнусного заговора наших врагов.

Его чистый баритон отдавался гулким эхом в огромном пустом зале. Уфимцев тихо переводил, склонившись к уху Кручины, и заметил, что у того подергивается веко. Раббани неподвижно стоял возле трона. Дети вертелись и хныкали все громче. Юные мамы пытались их утихомирить, испуганно поглядывая на Птипу. А он говорил без передышки, медленно, громко, нараспев. Когда младенцы заревели в полный голос, он, не прерывая речи, махнул рукой. Жены встали и попятились задом наперед к выходу, едва удерживая на руках извивающихся орущих детей. Кручина встрепенулся, он надеялся, что смена обстановки создаст хоть малюсенькую возможность вклиниться, начать диалог, пообщаться с Закарией. Потом ведь придется отчитываться перед Андроповым, как прошел обмен опытом.

– Я хочу, – продолжал Птипу, – отправить телеграмму моему дорогому другу Леониду Брежневу.

Он вытащил из складок своего балахона лист бумаги и протянул Уфимцеву:

– Брат, проверь, не сделал ли я ошибок.

Уфимцев шагнул к трону, взял листок и встал рядом с Кручиной. Почерк у Бессменного-Бессмертного был корявый, но разборчивый, по-русски он писал крупными печатными буквами.

«Я очин тибья лублу и еслы вы был бы женчина я жинюс на тибя хотя ваша голова уже сидая. Твой на века...» – дальше пятьдесят четыре слова на суахили и размашистая подпись.

Пока они читали, слышался голос муллы с минарета дворцовой мечети. Прибежали слуги, расстелили ковер в центре зала. Уфимцеву и Кручине пришлось посторониться. Птипу слез с трона.

– Юра, что происходит? – прошептал генерал.

– Аср, – объяснил Уфимцев, – намаз, предвечерняя молитва.

– Это я понимаю, – генерал сморщился, – телеграмма! Слушай, он издевается?

Уфимцев нахмурился и приложил палец к губам. Кручина нервничал, говорил слишком громко, и хотя голос муллы, усиленный динамиком, звучал на весь зал, а молящиеся съежились в характерных позах на ковре, лицом к Мекке, пятками к гостям, все равно во время намаза лучше помолчать.

После молитвы вспомнили о гостях и пригласили в кофейный павильон. Это была небольшая комната, устланная и обвешанная коврами, с низкими столиками и подушками вместо стульев. Кофе подали крепчайший, в крошечных чашках. Кручина кофе не пил, только делал вид, что прихлебывает маленькими глоточками. Уфимцев выпил с удовольствием. Раббани незаметно исчез. Птипу болтал на суахили, проклинал американцев, разоблачал мировой сионистский заговор. О телеграмме Брежневу он как будто забыл. Юра переводил, Кручина иногда открывал рот, чтобы вставить словечко, но тщетно. Генерал ерзал на подушке, ковырял золотой двузубой вилкой розовый кубик рахат-лукума и вздрогнул, когда Птипу вдруг перешел на русский и предложил ему сигару:

– Попробуй, товарищ, это подарок нашего друга товарища Фиделя Кастро.

– Спасибо, не курю, – пробормотал Кручина.

Уфимцев тоже отказался от сигары и закурил свою сигарету. Бессменный-Бессмертный отсек сигарный кончик при помощи настольной золотой гильотины.

– Вот так полетят головы наших врагов! – Он заржал.

Кручина изобразил подобие улыбки и выдавил глухой смешок. Птипу, продолжая гоготать, извлек из складок своего балахона золотой пистолет, несколько раз подкинул на огромной розовой ладони, направил дуло Кручине в лоб, перестал ржать и заявил по-русски:

– Хочу атомную бомбу!

Генерал окаменел. Птипу нажал спусковой крючок. Вспыхнул язычок пламени. Вот тут и наступила долгожданная пауза. Она длилась целую минуту, пока Бессменный-Бессмертный

раскуривал сигару, но Кручина так ничего и не сказал. Птипу выпустил дым ему в лицо и сурово спросил:

– Чем я хуже других?

Явился Раббани. Уфимцев сначала почувствовал его присутствие, потом увидел силуэт в углу. Ливиец будто соткался из сигарного дыма. Птипу скосил на него глаза, сверкнул красными белками и продолжал:

– Не дадите – договорюсь с китайцами. Ваши деньги, плюс их деньги, плюс доходы от моих алмазов, изумрудов и сапфиров. Почему я не могу стать великой ядерной державой? Я ведь уже победил Америку в отличие от вас.

На этом беседа закончилась. Бессменный-Бессмертный встал, вежливо объяснил на суахили, что его ждут срочные государственные дела, пожал гостям руки и удалился вместе с Раббани.

Перед самым отлетом Птипу прикатил на аэродром, страстно расцеловал Кручину и вручил ему большой красивый ларец черного дерева. Внутри оказались золотой пистолет-зажигалка, коробка кубинских сигар и миниатюрная золотая гильотина.

* * *

У проходной Надежду Семеновну догнала лаборантка Оля, подхватила под руку:

– Кошмар, как скользко! Вот вроде солью посыпают, а все равно каток, только обувь портится от соли этой.

Пока они предъявляли пропуска, проходили через вертушку, Оля не закрывала рта:

– Ой, слушайте, тут сразу после праздников в Даниловском универмаге выбросили финские полусапожки на цигейке. Танкетка – натуральный каучук, по бокам пряжки золотистые, колодка идеальная.

Зеркало возле гардероба в нижнем вестибюле было злым, кривоватым. Ослепительный неоновый свет делал лица плоскими, мертвенно-серыми. Обычно Надежда Семеновна пробежала мимо, не глядя, и приводила себя в порядок наверху, в раздевалке возле лаборатории. Но сейчас машинально остановилась вместе с Олей, вытащила шпильки и принялась расчесывать волосы под аккомпанемент ее возбужденного лепета:

– Я примерила, снимать не хотелось, удобно, как в тапочках. Мечта, а не полусапожки! Очередь в кассу заняла, пулей к маме, за деньгами, и, представляете, не успела. Расхватали!

Рядом с пухленькой кудрявой Олей в белой пушистой кофточке Надежда Семеновна в строгом темном свитере, с гладкими каштановыми волосами выглядела как взрослый доберман-пинчер рядом со щенком белого пуделя.

– Я всю ночь потом не спала, переживала. – Оля послушавила уголок носового платка и принялась вытирать разводы туши под глазами. – Везет вам, Надежда Семеновна, ресницы не надо красить, от природы черные.

– Зато волосы... – Надя приблизила лицо к зеркалу.

– А они у вас какие?

– Белые.

– Зачем тогда краситесь? Блондинка с карими глазами, с черными бровями и ресницами – это же супер!

– Нет, Оля, я не блондинка, я седая как лунь.

– Ой! – Оля испуганно моргнула. – Что-то рановато.

– Мг-м. Помнишь, песенку? «А мне всего семнадцать лет, а я совсем седая».

Оля кивнула и выразительно, с чувством, замурыкала:

– «Меня ты с танцев провожал, как сладки были речи, меня ты в губы целовал и обнимал за плечи...» Как там дальше?

– «Ты опозорил честь мою, сорвал цветок и бросил, а я по-прежнему люблю, хоть в моем сердце осень», – тихо подхватила Надежда Семеновна.

У лифтов столпилось много народу, они не стали ждать, пошли пешком, напевая дуэтом:

– «Да, я пьяна, я водку пью, а протрезвев, рыдаю, а мне всего семнадцать лет, а я совсем седая».

Когда допели и дошли до площадки четвертого этажа, Оля спросила:

– Это как-то связано со шрамами на руках?

– Что – это?

– Ну, седина в семнадцать лет. – Оля покраснела и прошептала, слегка заикаясь: – Извините, Надежда Семеновна, я не в свое дело лезу, просто ходят слухи, будто вы в юности вены резали из-за несчастной любви.

– О боже. – Надя вздохнула, приподняла рукав свитера. – Смотри, где вены, а где шрамы. Если бы мне в голову пришла такая дурь, я бы уж действовала наверняка, резала бы локтевые сгибы, а не запястья. И вообще, для меня это как-то чересчур романтично.

Пока разувались, надевали халаты, Оля все поглядывала на Надины руки, на кривые глубокие рубцы, особенно заметные на выпуклых косточках, извинялась, краснела, наконец не выдержала, спросила:

– От чего они?

– От наручников.

Оля обиженно выпятила губу:

– Нет, ну правда, без шуток, от чего?

– Неосторожное обращение с серной кислотой на практических занятиях по химии. А седина – это просто генетика.

– Между прочим, сейчас модно, некоторые специально вытраивают до белизны, а у вас тем более лицо молодое, ни морщинки, и фигура супер!

Оля ждала от нее хорошей рекомендации в институт и не скупилась на комплименты.

В лаборатории возле стеклянной клетки с морскими свинками Надежда Семеновна увидела профессора Трояна собственной персоной. Высокий, широкоплечий, он стоял и любовался ее свинками.

«Ему семьдесят три, на пять лет старше папы, – подумала Надя, – а выглядит лучше».

– Лев Аркадьевич, вот сюрприз, не ожидала!

Он приспустил марлевую маску, засверкал белоснежной фарфоровой улыбкой, стиснул Надю в объятиях и поцеловал в ухо так громко, что она охнула. От него пахло хорошим одеколоном. Накрахмаленный халат приятно шуршал.

– Забежал к Жеке, заодно решил с тобой повидаться, – объяснил он звучным воркующим баском, – завтра в санаторий уезжаю. Читал твою статью о бактериофагах. Фантастика, конечно, нечто из далекого будущего, но написано интересно, смело, убедительно. Горжусь. Ну, рассказывай, как там Сема, Ленусик-Никитусик?

«Жекой» он называл директора института Евгения Петровича Синельникова, с которым дружил много лет. «Семой» – отца Нади, Семена Ефимовича, с которым встречался два-три раза в жизни. «Ленусиком-Никитусиком» – ее дочь Лену и внука Никиту, которых никогда не видел.

– Спасибо, все здоровы.

– Ну, а как сама? – Он многозначительно заиграл бровями.

Троян был ее куратором в ординатуре, научным руководителем по кандидатской. Посредственный ученый, отличный организатор-администратор, он излучал позитивную энергию, имел влиятельных друзей в высших сферах, обладал уникальной способностью устраивать застолья, шашлыки на природе, прогулки на теплоходах и таким образом решал множество проблем, своих и чужих, интриговал, заводил и укреплял полезные знакомства. Он помнил

десятки анекдотов и рассказывал их с уморительно-серьезным видом. Он постоянно разводился и женился, каждая следующая лет на пятнадцать моложе предыдущей. Имел четверых детей и двоих внуков, причем младший сын был ровесником старшего внука.

После рюмки коньяку, под хорошую закуску, Лев Аркадьевич шутил, что единственная женщина, которую он любит всю жизнь бескорыстно и безответно, – это микробиология.

Ходили слухи, будто он лютый бабник, норовит затащить в койку все, что движется, отказов не терпит, обязательно мстит. Надя на собственном опыте убедилась, что слухи врут. Троян кокетничал, флиртовал, строил глазки. Это правда. Мог ненароком прижаться щекой к щеке, погладить коленку. Но вряд ли стоило понимать его так буквально. Он только предлагал, приглашал на тур вальса. Дальше – твой выбор. Когда Надя ясно дала понять, что при всем уважении спать с ним не хочет, он не обиделся и мстить не стал. Наоборот, отстаивал ее тему на диссертационном совете, помогал с публикациями.

На самом деле ей просто повезло попасть в коллекцию молодых дарований, которую Троян собирал многие годы, привередливо, тщательно, по каким-то лишь ему ведомым критериям. Экспонат коллекции получал звание «Моего Питомца». Питомцев своих Троян опекал и поддерживал, даже когда они переставали быть молодыми и никаких дарований не проявляли. Наверное, именно в этом и заключалась его бескорыстная любовь к науке.

– Смотри-ка, зверушки бодры, веселы, – Троян сквозь стекло показал «козу» свинкам, –дохнуть не собираются.

– Вчера две сдохли.

– Не скромничай, две сдохли, двадцать выжили. Результат отличный. М-да... Слушай, Надежда, по-моему, здесь тебя не ценят. Где твоя докторская?

– Почти готова.

– Что значит – почти? Сколько можно киснуть в доцентах? Ты уж профессором должна стать! Нет, не ценит Жека мою питомицу. – Он укоризненно покачал головой и поджал губы.

– При чем здесь Евгений Петрович? Просто я по очагам мотаюсь, поэтому не успеваю.

Троян склонился к ее уху и промурлыкал:

– У меня бы все успевала.

Он давно, настойчиво звал ее к себе, в БФМ – в НИИ биохимии и физиологии микроорганизмов. После ординатуры и защиты кандидатской она проработала там два года и ушла сюда, в МИЭМЗ, в «Болото», то есть в Московский институт эпидемиологии и микробиологии им. Д. К. Заболотного.

«Болото» считался непрестижным, перспективы для научного роста открывал слабые, оборудования постоянно не хватало, зато не было тотального контроля вышестоящих инстанций, интриг, подсиживаний, стукачества. А главное, только в «Болоте» у Нади появилась возможность много ездить, работать в очагах эпидемий, сначала в СССР, потом за границей.

– Ну, иди, иди ко мне под крылышко! – соблазнял Лев Аркадьевич тихим сладким голосом.

Она отлично понимала: он не назовет ни отдел, ни лабораторию, ни должность. Узнать все это она могла бы лишь после того, как согласится на его предложение, пройдет через систему фильтров и даст подписку о неразглашении.

Четыре года назад БФМ стал частью закрытой сверхсекретной структуры «Биопрепарат» при Министерстве обороны и в официальных документах именовался «почтовым ящиком» под кодовым номером. Надя ушла очень вовремя, а то стала бы невыездной на всю оставшуюся жизнь, да и занимались они там теперь черт знает чем.

– Лев Аркадьевич, я вас нежно люблю, – она улыбнулась, – рада бы в рай, да грехи не пускают.

– О чем ты, солнышко? – Он развернул ее за плечи к себе лицом. – Какие у тебя грехи?

– Есть грешок. Один, но для вашей сверхсекретной системы смертный. – Она привстала на цыпочки и прошептала ему на ухо: – «Пятый пункт».

– Вот новость! Ты за кого меня держишь, Надежда? Я что, безответственный наивный дурак? Зову тебя, а эти дела не учитываю? Да у нас там каждый третий инвалид пятой группы!

Пока они болтали, лаборатория наполнилась людьми. Рабочий день начался. Трояна тут помнили, узнавали, здоровались, он в ответ улыбался, важно кивал и продолжал разговор с Надей. Последние слова он произнес слишком громко. Сразу повисла тишина, десять пар любопытных глаз уставились на них. Лев Аркадьевич нахмурился, взглянул на часы.

– Ох, Надежда, заболтались, все, пора. – Он чмокнул ее в щеку и быстро зашагал к выходу.

Как только дверь за ним закрылась, подлетела Любовь Ивановна, старший лаборант, ветеран и главная сплетница «Болота». Она принялась деловито пересчитывать чашки Петри в стерилизаторе у Нади за спиной:

– Десять, двенадцать, восемнадцать... Опять половину раскокали! Ну, как поживают их сиятельство? Небось подался в членкоры?

– Не знаю, не спросила, – пробормотала Надя, не поднимая головы от журнала наблюдений.

– А чего так? – Любовь Ивановна забыла про чашки, молча уставилась на Надю.

Судя по тишине, ответа ждала не только она. К разговору прислушивались все присутствующие. Надя бросила ручку на журнал.

– Троян теперь засекреченный, лишних вопросов лучше не задавать.

– Я бы на твоём месте спросил, – подал голос от соседнего стола Павлик Романов.

Он вместе с Надей учился в ординатуре, но в коллекцию Трояна не попал. Из БФМ ушел в «Болото» раньше Нади, не по своей воле. После защиты кандидатской напился, ввязался в драку в ресторане «Минск» и попал в милицию. Его бы простили, оставили в институте, но вместо покаяния он полез на рожон, стал доказывать, что дрался за справедливость, а менты сволочи.

– Вы, Павел Игоревич, на её месте при всем желании оказаться не можете, – строго заметила Любовь Ивановна, – с вами их сиятельство целоваться-обниматься не станут.

– Кстати, Надежда, у тебя с ним что, до сих пор шуры-муры? – Павлик противно почмокал, изображая поцелуи.

– Тебе завидно? – огрызнулась Надя.

– Павел Игоревич, что вы такое говорите? – влезла Оля. – Троян вообще дедуля древний, синяя борода, у него десять жен было!

– Ну, во-первых, не десять, а три, – уточнила Любовь Ивановна, – а во-вторых, тебя, Ольга, это не касается.

– Это никого не касается, – выдал свой вердикт Олег Васильевич Возница, руководитель лаборатории, – хватит болтать, не худо бы и поработать немного.

Олега Васильевича за глаза называли «Гнус», но не из-за гнусного характера. Человек он был добрый, безобидный. Просто «гнусами» называли всех главных научных сотрудников, так же как младших «эмэнесами», а старших – «эсэнсами».

Любовь Ивановна обиженно фыркнула. Надя вернулась к журналу наблюдений. Как раз сегодня ей очень хотелось поработать. Выжившие свинки вдохновили ее. Троян назвал результат «отличным». Он думал, что свинок вылечил от легочной формы сибирской язвы традиционный коктейль из антибиотиков и специфического гамма-глобулина, просто его питомице удалось найти правильные соотношения и дозы. Знал бы он, что на самом деле питомица ввела свинкам и почему они не только живы, но бодры и веселы.

– Фантастика, нечто из далекого будущего, – пробормотала Надя, передразнивая воркующую интонацию Трояна, – и вовсе не фантастика, а реальность, и вовсе не из будущего, а из

хорошо забытого прошлого. Так-то, дорогой Лев Аркадьевич. В вашем сверхсекретном БФМ кто бы мне позволил заниматься алхимией?

Бактериофаги, вирусы-пожиратели бактерий, давно не давали ей покоя. Они могли бы стать отличной альтернативой антибиотикам, но пока мало кто понимал, что альтернатива в принципе нужна. Медицина в антибиотики верила свято, врачи прописывали их при любом чихе и просто для профилактики. Да, конечно, антибиотики спасают миллионы жизней. Но они дают тяжелую, долгоиграющую побочку, подавляют естественный иммунитет. А главное, чем их больше, тем быстрее бактерии мутируют и учатся выживать. Рано или поздно они разовьют резистентность. И что тогда?

Надя с раздражением замечала, что слишком часто произносит горячие внутренние монологи, пытается убедить кого-то в необходимости работы с фагами, и спрашивала себя: «Зачем? Хочешь доказать, что твоя тема, твоя идея самые важные? Кому? Адепты антибиотиков все равно не поверят, пока не ткнутся носом в новое средневековье. Опять чума, холера, туберкулез, сифилис и полнейшая медицинская беспомощность».

Неслышно подошел Гнус, заглянул через плечо, спросил:

– Надежда, ты вообще как себя чувствуешь?

– Нормально, а что?

– Ты какая-то бледная, печальная. Надо лететь в Нуберро, там опять дизентерия.

– Когда?

– Точно пока не известно, борт дадут в понедельник или во вторник. Смотри, если тебе тяжело, ну, или семейные обстоятельства...

– Олег Васильевич, я в порядке, тем более очаги мне сейчас нужны позарез.

– Кто о чем, а ты все о своих фагах. – Гнус похлопал ее по плечу. – Молодец, Надежда, спасибо, знал, что не подведешь, не откажешься.

Глава четвертая

Полная луна таращи́лась в окно, заливала комнату мутным белесым светом. Он лежал на своей раскладушке, вытянувшись, сложив руки на груди, как покойник, пытался заснуть, боялся, что она опять явится, ждал ее, боролся со страхом и бессонницей. Вот сейчас, пока ее нет, самое время поспать, и как на зло, сна ни в одном глазу. Она не приходила, а он все равно думал о ней, вспоминал их первую встречу, в тысячный раз перебирал, теребил подробности, словно замусоленные четки.

Кончался сентябрь пятьдесят второго, такой теплый и сухой, что казалось, продолжается лето. Погода стояла отличная, под стать его настроению. Его повысили в звании и в должности, дали отдельную казенную квартиру. Ему светила шикарная карьера. Главное, не зевай, шевели мозгами, держи нос по ветру. Он доверял своему чутью, соблюдал баланс между разумной осторожностью и оправданным риском, избегал открытых конфликтов, не искал покровительства начальства и старательно учился на чужих ошибках.

Однажды ранним утром после службы он забежал к матери и в полутемном коммунальном коридоре столкнулся с незнакомой пигалицей в байковом халате. Она несла из кухни кастрюльку. Он спешил, задел ее локтем, кастрюлька упала, по грязному полу покатались два белых яйца. Пигалица, путаясь под ногами, поймала их, положила назад в кастрюльку. Он выругался. Такая у него была привычка, на службе все матюгались. Это потом он стал следить за речью, приучился выбирать выражения, а тогда не церемонился.

Да, выругался и готов был мчаться дальше, но вдруг услышал:

– Не беспокойтесь, они вкрутую.

Это прозвучало так, будто он не облозил ее матом, а вежливо извинился.

Соседи по коммуналке сторонились его, тихо здоровались, вжимались в стены, ныряли в свои норы. Он мог поболтать, пошутить с ними, но лишь когда ему этого хотелось. В ответ они угодливо кивали, хихикали. Стоило повести бровью, слегка изменить выражение лица, тут же испарялись. Никто не смел первым заговорить с ним.

– Я вообще-то всмятку люблю, но сегодня отвлеклась, переварила, – продолжала она с улыбкой. – Повезло! Вот пришлось бы потом доски эти отмывать и без завтрака на работу.

Ее слова показались ему бессмысленным бредом. Что значит «всмятку»? При чем здесь доски? И какого хрена она остановила его посреди вонючего коридора? Он не сразу понял, что сам притормозил на бегу, стоит и разглядывает ее с интересом.

Она была не в его вкусе, он предпочитал покрупней, погрудастей, повеселей и чтобы халат шелковый, с драконами. А эта вроде улыбалась, но как-то не очень весело, к тому же выглядела малолеткой, не старше пятнадцати. Застыранное байковое тряпье висело на ней, как на огородном чучеле.

– На работу? – Он оцупал взглядом тонкие руки, шею, маленькие голые ноги в разношенных тапках. – Семилетку хотя бы окончила?

– Мг-м.

Диалог длился не более двух минут. Он даже не спросил, как ее зовут. Она проишмыгнула вглубь коридора со своей кастрюлькой, он отправился отдыхать и расслабляться после тяжелой ночи. Неподалеку, на Брестской, жила его очередная пассия, официантка, крупная, грудастая, веселая Зина. В портфеле лежал подарок – шелковый халат с драконами.

О пигалице он забыл, стоило переступить порог квартиры на Брестской. Зина была хороша, опытна и старательна, но почему-то никак не могла завести его. Ее оригинальные приемчики, которые прежде срабатывали безотказно, теперь только раздражали. Хотелось спать и чтобы эта назойливая баба отстала. Он бы сдался, однако не желал признать фиаско.

Вдруг в складках бархатного покрывала почудился изгиб тонкой руки, воображение поспешно, жадно дорисовало остальное. Зина растаяла, уступив место той, другой, и все стало получаться, да как!

Потом он лежал неподвижно, наслаждался непривычным блаженным чувством покоя и уверенности.

– Ну, ты даешь. – Зина хихикнула и пощекотала ему грудь острыми алыми коготками. – Я-то вначале прям испереживалась, разлюбил меня, что ли? А ты вон как разошелся. Зверь, огонь!

«Дура, при чем здесь ты?» – подумал он и лениво, сыто усмехнулся.

Его начальник помимо жены имел любовницу. Она не работала, жила в отдельной квартире в центре Москвы. Начальник начальника имел двух любовниц и по квартире на каждую.

Он себе ничего подобного позволить не мог, во-первых, из осторожности, во-вторых, по статусу пока не положено. Он, как большинство его сослуживцев, развлекался с опытными безотказными телками, которые в изобилии клубились внутри и вокруг Аппарата: официантки, парикмахерши, машинистки, медсестры. Все как на подбор статные, веселые, ухоженные, проверенные-перепроверенные. Блондинки, брюнетки, шатенки, на любой вкус, они были всегда к услугам среднего офицерского состава, как часть спецнабжения соответствующей категории. Они отчитывались своим кураторам о каждом свидании, требовали подарков, ресторанов, пахли одинаковыми духами и легко перелетали из рук в руки. Ни с одной из них он не мог расслабиться, ни от одной не получал настоящего мужского удовольствия.

Он давно хотел завести собственную девочку, не казенную, скромную, без претензий. Пигалица из коммунального коридора показалась ему вполне подходящей кандидатурой. Раньше он на таких фитюлек-малолеток не обращал внимания, а теперь понял: именно такие его заводят. Причесать, приодеть – получится картинка.

Ее звали Шура, ей недавно исполнилось девятнадцать, просто из-за хрупкого сложения и детских пропорций лица она выглядела младше своего возраста. Проживала Шура в его родной коммуналке в Горловом тупике, у одинокой хромой старухи Голубевой.

Голубева занимала комнату в глубине коридора, такую крошечную, что едва помещались кровать и стол. Шура носила ту же фамилию и приходилась ей внучкой. Голубева устроила ее машинисткой в издательство «Геодезия и картография», в котором сама прослужила много лет редактором.

Хромая старуха давно стала объектом усиленного внимания соседей. Помрет не сегодня завтра, и у кого-то появится шанс расширить свою жилплощадь за счет ее комнатенки. Одной из претенденток на комнатенку была его мать. Но Голубева помирать не собиралась, да еще занялась оформлением прописки внучки. А внучка, между прочим, явилась в Москву из Нижнего Тагила, воспитывалась в детдоме.

Мать клокотала:

– Я к участковому ходила, от общественности. Что это, грю, вы прописываете тут всяких? Знаете, как это называется? Ротозейство, если не хуже! А он мне: «Успокойтесь, гражданочка, все законно!» Вот ты, сынок, объясни, может, я по темноте своей чего не понимаю? Есть у нас такой закон – дочь врагов народа в Москве прописывать?

– Мам, с чего ты взяла, что ее родители – враги народа?

– Ну, так Нижний же Тагил! Детдом! Родилась-то она вроде в Москве, а туда как попала?

Он использовал свои профессиональные возможности, выяснил, что родители Шуры ни арестованы, ни высланы не были. Мать умерла родами, отец работал в горнодобывающей промышленности, на Урал уехал в длительную командировку. В сорок первом ушел на фронт, погиб в боях под Смоленском. Семья осталась в Нижнем Тагиле. Мачеха и сводный младший

брат умерли от тифа. В итоге Шура попала в детдом, закончила восьмилетку, затем курсы стенографии и машинописи.

Он не поленился, проверил родственников мачехи, но и там было чисто.

Да, все в полном порядке, не придерешься. Окажись в ее биографии темные пятна, он не рискнул бы с ней связываться. А с другой стороны, именно эта идеальная чистота должна была насторожить. Следовало копнуть глубже, но врожденная осторожность и здравый смысл изменили ему. Он потерял голову – впервые в жизни, в самый неподходящий момент.

* * *

В конце марта прошлого года дед и мама посадили Лену в старый бежевый «Москвич», отправились в далекий спальный район и показали одну из двенадцатизатеек, только что отстроенную, еще не заселенную. Дед давно стоял в какой-то то ли ветеранской, то ли профессорской квартирной очереди.

Комната хоть одна, зато просторная, санузел отдельный, кухня приличного размера, большой балкон. Двенадцатый этаж – хорошо, никто над головой топтать не будет. Метро проведут совсем скоро, линию уже копают. Рядом лес, речка, воздух чистый. Когда-то стояла тут деревня Ракитино, и улица называется Ракитская.

Лена была на восьмом месяце. Если бы не здоровенный живот, она скакала бы от счастья, птицей влетела бы на двенадцатый этаж, посмотреть на свой будущий дом, вдохнуть запах свежей штукатурки, прикинуть, что куда поставить. Но лифт еще не запустили.

На следующий день она привезла на Ракитскую Антона. Они стояли обнявшись, задрав головы, глядели на балкон на последнем этаже, четвертый справа, потом долго целовались, чуть не грохнулись в грязь с шатких досок у подъезда.

Никита родился в мае. Первые два месяца, пока он был совсем крошечный, жили на Пресне у мамы и деда, потом перебрались на дачу в Михеево. В июле мама взяла отпуск, в августе – дед. Антон приезжал редко, все лето у него были съемки. Осенью пришлось вернуться на Пресню. Дед, мама, Антон работали, жить одна с Никиткой на даче Лена не могла.

В новую квартиру въехали только в ноябре, когда все обустроили и Никита немного подрос. Вещей у Лены и Антона было совсем мало, зато Никиткино барахлишко заняло целый комод. Предстояло купить тахту, стиральную машину, стулья, в общем, много всего. Но пока и так сойдет.

Новый год встречали здесь, на Ракитской, в семейном кругу. За столом особенно резко бросался в глаза контраст между маминым точеным интеллигентным лицом и свекровкиной рыхлой ряшкой.

Мама заговорила о Высоцком в роли Гамлета. Перед самым Новым годом благодарный пациент подарил деду два билета на Таганку. Дед и мама предложили посидеть с Никитой, чтобы Лена пошла с кем-то из них, но она отказалась. Антон давно собирался сходить с ней на «Гамлета». Бывший сокурсник обещал провести их в будку осветителя. Конечно, ей больше хотелось пойти с Тосиком, чем с дедом или с мамой.

За новогодним столом мама стала делиться впечатлениями. Тосик удивился:

– Так вы уже видели? Когда? Как вам удалось достать билеты?

Дед объяснил.

– Да, повезло! – Антон восхищенно присвистнул. – Классно иметь таких пациентов! Ничего, мы с Леной тоже скоро пойдем на «Гамлета». Правда, сидеть будем не в партере, а в будке осветителя.

– Антон, откуда ты знаешь, что мы сидели в партере? – спросила мама.

– Ну, наверное, благодарный пациент не стал мелочиться, уж дарить так дарить! – Тосик весело хохотнул. – Между прочим, с рук у спекулянтов билеты в партер – вообще запредельные деньги!

Свекровка, Ирина Игоревна, до этой минуты молчала, крохотными водянисто-голубыми глазками, густо обведенными черным, ощупывала комнату, людей за столом. При слове «деньги» встрепенулась, ожила.

– Этот, хрипатый, от денег небось лопается, вон, говорят, по Москве на «Мерседесе» разъезжает, а сам-то шпендрик, ни кожи, ни рожи, ни голоса, и по национальности кто – не ясно.

Кажется, дед не слышал, Никита ерзал у него на коленях, громко гукал и дергал его за нос, будто нарочно отвлекал от злой свекровкиной болтовни. Но остальные слышали. Мама молча покачала головой. Антон ухмыльнулся, то ли виновато, то ли снисходительно. Свекор Геннадий Тихонович вступился за Высоцкого:

– Ирик, ну ты не права, песни у него душевные, а национальность – что? Слава богу, у нас не Америка, апартеиду нет, у нас в Советском Союзе все нации равны. Ты вот лучше давай подарок вручай.

Подарки оказались совсем скромные: тоненькая потрепанная книжка «Дядя Степа» – для Никиты, льняное кухонное полотенце, завернутое в серую упаковочную бумагу и кокетливо перевязанное белой ленточкой – что называется, «в семью». Точно такое же свекровь преподнесла на новоселье. Когда родился Никита, осчастливила внука треснутой пластмассовой погремушкой, которая хранилась со времен младенчества Антона.

Родственнички выкатились сразу после двенадцати, чтобы успеть на метро. Антон отправился провожать их, Лена села кормить Никиту. Дед и мама принялись убирать со стола. Из кухни сквозь звук льющейся воды и звон посуды доносились обрывки фраз.

Лена, как всегда, дико жалела Антона. Разве он заслужил такую мамашу? Отец, конечно, человек порядочный, добрый, но совсем уж простой, матерится через слово. Тосик на них ни капельки не похож, будто подкидыш, непонятно, в кого получился такой красивый и талантливый. Сам, без всякого блата, поступил в «Щуку» на актерский. Ну, не везет, не берут в театры, приходится вести драмкружок в Доме пионеров. В кино снимается в эпизодах, иногда дают рольки маленькие, со словами, и по закону подлости или вырезают при монтаже, или фильм целиком кладут на полку. Другой бы на его месте отчаялся, озлобился, а он не унывает, мотается на «Мосфильм», на Студию Горького, даже массовками не брезгует, плюс еще репетиторством подрабатывает, учит абитуриентов актерскому мастерству.

Когда мама и дед вернулись в комнату, Лена уловила мамин шепот:

– И что ты ответил?

– Предложил отложить этот разговор, – прошептал дед и быстро взглянул на Лену.

– Какой разговор? – спросила она тревожно.

Никита наелся, спал в кроватке. Лена сидела на свернутом матрасе, сцеживала в банку остатки молока. Ей не понравился шепот и взгляд деда. Мама аккуратно сняла грязную скатерть со сдвинутых столов, письменного и кухонного, ушла в кухню. Лена повторила свой вопрос:

– Какой разговор? О чем вы?

– Никакой, – дед опустил на матрас рядом с ней, – ерунда, не бери в голову.

По его интонации, по ускользающему взгляду Лена поняла, о чем речь. Вряд ли стоило продолжать, но на нее что-то нашло. Она прицепилась к деду, и он сдался:

– Видишь ли, Ирина Игоревна в очередной раз спросила меня, когда мы пропишем сюда Антона. Ты же знаешь ее бестактность.

– Подожди, – перебила Лена, – ты сказал: в очередной раз? Она что, и раньше спрашивала?

– Ну, да, по телефону, дважды, и вот сегодня.

Лена не случайно так напряглась. Перед Новым годом она сдуру пообещала Антону задать деду вопрос о прописке. Тосика заклонило, хотя зачем ему? Был бы провинциал, тогда понятно. Но ведь москвич, и квартира у его родителей вполне приличная. Нет, не стала бы Лена трогать эту тему, ни сегодня, ни завтра. Какая-то она скользкая, гадкая, хочется отдернуться, как от змеи. Но Антон спросит обязательно, и что ответить?

– Свекровка в своем репертуаре, – Лена криво усмехнулась, – но с другой стороны, вот когда мы в Суздаль ездили, нас отказались селить в гостинице в один номер, хоть мы были молодожены. Сказали: прописка у вас разная. Может, вы просто однофамильцы, а штампы подделали.

Именно эту историю приводил Антон как аргумент, и Лена повторила ее.

– Все-таки поселили, – холодно заметила мама.

Она стояла в дверном проеме, прислонившись плечом к косяку, такая красивая, бледная и строгая. Повисло тяжелое молчание. Лена была бы рада сменить тему, но представила, как придется объясняться с Антоном, и чужим, фальшиво-веселым голосом спросила:

– Дед, а правда, почему бы не прописать сюда Тосика?

– Пока не вижу в этом необходимости. – Дед поднялся, крикнул. – Давай-ка закончим уборку.

– Это не ответ! – Лена вскочила. – Антон мой муж, отец твоего правнука и твоего внука!

– Ш-ш, – мама приложила палец к губам, – не кричи, разбудишь внука-правнука.

– Мы здесь живем, допустим, явится участковый, а Тосик не прописан, – выдала Лена второй довод Антона, – могут быть неприятности, штраф там какой-нибудь, ну, я не знаю!

– Вот именно, не знаешь, – вздохнул дед, – это тебе Антон сказал – про участкового и штраф?

– Хватит разговаривать со мной как с младенцем!

– Хочешь по-взрослому? – мама опустила на табуретку. – Изволь. Мы с бабушкой не уверены, что ваша семейная жизнь продлится долго. Дело не в снобизме, не в дуре Игоревне, не в том, что вы из разных детских. Это как раз пустяки. – Она вздохнула, сжала виски ладонями. – Видишь ли, у нас есть основания подозревать...

– Надя, остановись! – резко перебил дед.

– Основания? – просипела Лена севшим голосом. – Подозревать? Мама, что ты несешь?

– Есть основания подозревать, что твой Тосик лгун и шельма, – быстро проговорила мама.

Лена застыла посреди кухни с открытым ртом. В глазах закипали слезы. Дед погладил ее по голове, забормотал на ухо:

– Все, все, успокойся, ты же знаешь, мама у нас нервная, тонкокожая, чуть что – вспыхивает. Ее тошнит от Игоревны, пока они тут сидели, она терпела, держалась, а сейчас сорвалась. Вот мы с тобой люди спокойные, мудрые, нам все нипочем. Дай нам Бог иронии и жалости! Помнишь, откуда это?

– Хемингуэй, «Фиеста», – механически ответила Лена, шмыгнув носом.

– Умница! – Дед чмокнул ее в лоб.

Хлопнула дверь. Из прихожей послышался голос Антона:

– Ну и холодрыга!

Мама и дед засобирались, вежливо простились с Антоном. Лена вышла с ними на лестничную площадку.

– Мам, ты сказала о каких-то подозрениях, назвала Антона лгуном и шельмой. Раз уж начала – давай договаривай.

– Ну, просто с языка сорвалось, – ответил за маму дед, пряча глаза, – я же тебе все объяснил, мы забудем об этом, не станем портить праздник.

Подъехал лифт. Мама попыталась обнять ее, поцеловать.

Лена отшатнулась, выпалила:

– Хочешь разбить мою жизнь? Чтобы ребенок рос без отца, чтобы я тоже стала матерью-одиночкой? Спасибо за прекрасный Новый год! – Она кинулась назад, в квартиру.

С Антоном ничего обсуждать не стала, отправилась в ванную. Под душем захлебывалась рыданиями. Почему, почему они оба так ужасно относятся к Тосику? Особенно мама!

Она выключила воду и услышала плач Никиты. Антон курил на балконе, дверь не закрыл, в комнате было холодно и пахло дымом. Никита скинул одеяльце, лежал весь мокрый.

– Совсем сдурел? – крикнула Лена.

Антон принялся извиняться, помогать, бросил в тазик мокрое, принес чистое. Наконец ребенок заснул, они улеглись на свой матрац, Тосик обнял ее, и она мгновенно забыла обо всем.

Потом, когда они лежали, расслабленные, опустошенные, он, поглаживая ей спину, спросил:

– Ну, поговорила?

«Боже, как некстати!» – Лена сморщилась и коротко сухо объяснила, что прописку дед пока не планирует.

– Почему?

– Не знаю.

– То есть как – не знаешь? Ты поговорила или нет? Что конкретно он тебе ответил?

Антон опять заклинило. В итоге Лена обнаружила рядом на матраце злобного нудного склочника вместо нежного мужа.

Утром ее разбудил Никита. Антон надевал ботинки в прихожей.

– Ты куда? – спросила она, зевнув.

– Мне надо побыть одному.

– Ну и пожалуйста!

Он вернулся поздно вечером, угрюмый, молчаливый. Они не разговаривали. Спать легли, повернувшись друг к другу спинами. Ночью Никита просыпался несколько раз, Лена его кормила, переодевала. Антон лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Она попросила помочь ей вымыть ребенку обкаканную попу, он даже глаз не открыл, пробурчал что-то и натянул одеяло на голову.

Утром он ушел, пока они с Никитой еще спали. Вечером, часов в двенадцать, явился. Лена притворилась, что спит, слышала, как он топает по кухне, хлопает дверцей холодильника, гремит посудой, курит.

Он исчезал, появлялся, ел, спал, будто чужой человек, сосед или постоялец в гостинице. Лена ужасно мучилась и не знала, что делать. Мириться первой? Но он ведет себя по-хамски, она перед ним ни в чем не виновата.

Два дня назад, около девяти утра, он в очередной раз ушел, не сказав ни слова. Лена услышала хлопок двери и подумала: все, хватит! Вернется вечером – поговорим, так жить невозможно.

На кухонном столе она нашла записку: «Пригласили в пионерлагерь под Волоколамском, играть Деда Мороза. Вернусь в понедельник. Не скучай! Люблю! Целую!»

* * *

Освободиться пораньше Вячеславу Олеговичу не удалось. После того как в учебной части обсудили и решили все вопросы, Озеркин потащил его на кафедру творчества «по срочному неотложному делу», подмигивая, посапывая, облизываясь, попросил написать рецензию на книжку стихов молодой, жутко талантливой поэтессы. «Ах ты, старый кобель, трех лет не про-

шло, как женился на молодой, жутко талантливой композиторше, – подумал Вячеслав Олегович, впрочем, без всякой злобы, наоборот, с восхищением и завистью, – вот я так не могу».

Озеркин извлек из портфеля папку с рукописью и в своей неподражаемой мелодраматической манере зачитал вслух несколько строк рифмованной галиматьи. Фамилию поэтессы Галанов услышал впервые и тут же забыл. Папку взял, рецензию пообещал.

До «Елисейского» он добрался только к половине второго. Милую толковую Прасковью Петровну уже сменила какая-то незнакомая девка, нагло красивая, хамоватая. Она перепутала заказ, всучила вместо осетра кету холодного копчения, вместо «Швейцарского» сыра – «Российский», вместо финского сервелата – кусок вареной «Любительской». Пока он с отвращением перебирал чужое убожество в чужих пакетах, девка красила губы. Галанов едва не сорвался на крик, но взял себя в руки, тихим ледяным голосом потребовал то, что ему положено, и в итоге получил, но без намека на извинения.

Вернувшись, наконец, домой, перевел дух, решил перекусить, стал варить себе кофе, но отвлекся на телефонный звонок, кофе убежал, залил белоснежную плиту.

Звонили из секретариата Московской писательской организации. Вячеслав Олегович очень пожалел, что взял трубку. Пришлось к семи ехать на срочное незапланированное заседание парткомиссии. Обсуждали персональные дела драматурга Смурого и поэта Перепечного.

Перед Новым годом драматург и поэт в очередной раз напились и наскандалили в ресторане Дома литераторов. Никаких увечий, но посуды побили много. Драматург и поэт плевали друг другу в лица, и кто-то из них промахнулся. Плевком угодил на лацкан пиджака министра культуры дружественной Монголии, товарища Че Бу Пина, который как раз в этот момент проходил через ресторанный зал в банкетный, в сопровождении сотрудника Отдела культуры ЦК КПСС.

Парткомиссия долго обсуждала, чей именно был плевок. Драматург валил на поэта, поэт – на драматурга. Кто-то предложил провести экспертизу, но оказалось – поздно. Пиджак товарища Че Бу Пина уже отдали в чистку.

За многие годы творческой деятельности Смурый написал две пьесы: «Замоскворецкие зори» и «Одного камня искры». Перепечин – десятка три стихотворений.

В конце сороковых пьесы Смурого шли на лучших сценах страны. Песни на стихи Перепечного исполнялись по радио. Драматург и поэт дружили до тех пор, пока Смурый не получил Сталинскую премию второй степени, а Перепечный – третьей. На этом дружба закончилась. Перепечный возненавидел Смурого, да так сильно, что тот не мог не ответить взаимностью.

После XXII съезда театры убрали из репертуара пьесы Смурого, больше никто никогда их не ставил. Песни на стихи Перепечного исполнять перестали. Ходили слухи, будто Сталинскую премию второй степени Смурый получил за чужие пьесы. За Смурого якобы писал молодой драматург Гуревич, опальный во времена борьбы с космополитизмом, ныне преуспевающий.

Гуревич свое авторство категорически отрицал, утверждал, что со Смурым никогда ничего общего не имел и такие бредовые пьесы не написал бы даже под дулом пистолета. Впрочем, по мнению Вячеслава Олеговича, пьесы самого Гуревича были ничем не лучше.

Эта история давно никого не занимала, кроме поэта Перепечного. Встречаясь со Смурым в публичных местах, он отвешивал шутовские поклоны и орал: «Драматургу Гуревичу наше с кисточкой!».

Сам Перепечный в присвоении чужих текстов замечен не был. И вот недавно случился конфуз. Толстый литературный журнал в честь шестидесятилетия поэта Перепечного напечатал десять его стихотворений. Семь – из единственной книжки тридцатилетней давности, а три – совсем новые, свежие. Они сразу бросались в глаза, сверкали, как бриллианты чистой воды в кучке пластмассовых бусин, и вызвали в узком литературном кругу легкую оторопь. Что за чудеса? Бездарный, пьющий, полуграмотный Перепечный, за всю жизнь не сочинивший ничего, кроме дурно зарифмованных агиток, вдруг на старости лет стал так здорово писать.

Вскоре после выхода номера в редакцию явилась старушка, принесла пожелтевшую газету «Трудовая Москва» за май шестьдесят четвертого года, где на последней странице, в рубрике «Наши юные таланты» были напечатаны те самые три стихотворения. Автора звали Дмитрий Широков, ему в шестьдесят четвертом было шестнадцать лет.

Перепечный объяснил, что когда-то давно увидел стихи в газете, они ему очень понравились, он переписал их в свой блокнотик, а фамилию автора обозначить забыл. Однажды листал блокнотик, нашел хорошие стихи и нечаянно принял за свои собственные, что вполне понятно, поскольку написаны они его почерком, в его блокнотике, и за многие годы он с ними совершенно сроднился.

Стихи Широкова, кроме этих трех, в СССР никогда не публиковались. В шестьдесят восьмом он был арестован и отсидел два года по статье 191-1 УК РСФСР (распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй). Вскоре после освобождения эмигрировал.

Жил в Париже. На Западе его стихи печатали самые махровые антисоветские издания, вышло три сборника.

Главный редактор журнала, приятель Вячеслава Олеговича, совершенно растерялся. На помощь пришли сотрудники Пятого управления КГБ. Они заверили, что ни одного из этих трех стихотворений Широкова в его западных публикациях нет, из чего можно заключить, что он не особенно дорожит ими, вероятно, считает детскими, незрелыми. Если вдруг он из Парижа все-таки заявит о своих авторских правах, разбираться будут наши юристы. Уважаемому редактору беспокоиться не стоит. Скорее всего, никто вообще ничего не заметит. Со старушкой и еще несколькими слишком дотошными читателями провели профилактические беседы. Редактор отдела поэзии получил строгий выговор. Сотрудники Пятого управления позаботились о том, чтобы разговоры стихли. Позаботились настолько профессионально, что даже Смурый, даже спяну, не посмел ничего вякнуть на эту щекотливую тему.

Накануне Нового года в ресторане ЦДЛ драматург и поэт пинали друг друга, хватили за грудки и плевали в лица молча. Если бы не испорченный лацкан пиджака монгольского министра, парткомиссия вряд ли собралась бы по такому пустяковому поводу. Но поступил звонок с самого верха, и собраться пришлось.

Поэт и драматург искренне, со слезами, каялись, клялись, что подобное никогда не повторится, обещали принести извинения товарищу Че Бу Пину и заплатить за побитую посуду.

Пока шло заседание, Галанов вместе со всеми прятал улыбку в кулак, маскировал смех легким покашливанием. Об исключении Смурого и Перепечного из Союза писателей вопрос не ставился. Все-таки лауреаты, заслуженные деятели культуры. Парткомиссия единогласно проголосовала за вынесение обоим строжайших устных предупреждений.

Вячеслав Олегович вернулся домой в начале одиннадцатого, совершенно разбитый. На какую же дрянь пришлось потратить долгожданный, драгоценный свободный вечер! На самом деле все это не смешно, а стыдно и противно.

За свои черновики так и не сел, с тоской думал о завтрашнем дачном застолье. Куча народу, суета, напыщенные тосты, тупые шутки генерала Политуправления Вани Дерябина, ослиное ржание генерала КГБ Феди Уральца, надоевшие до оскомины разговоры, привычное лицемерие.

Мелькнула трусливая мыслишка: не позвонить ли утром на дачу, не сказать ли больным, не остаться ли дома, в тишине и одиночестве? Но Оксана Васильевна поднимет панику, и как быть с гостями? Все-таки два генерала... Нет, обычной простудой тут не отделаешься. Придется сочинить нечто серьезное, на уровне сердечного приступа.

«Сочиню себе приступ, а потом правда случится! Накаркаю, – думал он, засыпая, – вот разве что внематочная беременность...»

Глава пятая

Пятого октября 1952 года открылся XIX съезд партии. Он вместе с несколькими молодыми офицерами получил гостевой билет. Партийные съезды не созывались тринадцать лет, приглашение считалось очень почетным: не только поощрение за отличную службу, но и знак особого доверия.

Накануне он долго не мог уснуть, отглаживал парадный китель, шлифовал пуговицы, надраивал сапоги.

В день открытия в фойе в огромных зеркалах он ловил среди множества отражений свое, мысленно ставил рядом Шуру, красиво причесанную, в нарядном шелковом платье, в лаковых туфлях на каблучках, и губы растягивались в довольной усмешке.

Он забыл о ней, лишь когда увидел в президиуме Самого – пусть издали, но живого, настоящего.

Под нудные доклады ораторов он не сводил глаз с обожжаемой седовласой фигуры в светлом френче, жадно ловил каждое движение: склонил голову набок, прищурился, налил воды из бутылки, сделал несколько глотков, осторожно, двумя пальцами, разгладил усы, что-то чиркнул в блокноте, нахмурился, усмехнулся.

В результате этого неотрывного взглядывания возникло потрясающее чувство, будто из тысяч лиц в огромном зале Сам заметил и выделил именно его, молодого капитана, их глаза встретились. Чувство было таким мощным, что закружилась голова, ладони вспотели, в горле пересохло.

Дни, когда Сам в президиуме не появлялся, тянулись бесконечно, даже свет хрустальных люстр тускнел от скуки. Ораторы выступали слишком долго, формально, однообразные доклады сливались в монотонный унылый гул. Хотелось выйти, отлить, покурить, глотнуть чего-нибудь в буфете. Сосед справа, Федька Уралец, иногда начинал клевать носом, приходилось пихать его локтем в бок. Федька вздрагивал, вскидывался, незаметно пожимал ему руку, мол, спасибо, друг.

Федькин Дядя занимал высокий пост в центральном Аппарате, пользовался особым доверием Самого, часто ездил на Ближнюю. Собственных детей он не имел, Федьку любил как сына и делился с ним весьма серьезной информацией. Дяде казалось, что таким образом он предупреждает, защищает, обучает драгоценного племянника искусству аппаратного выживания.

Федька был простоват, инфантилен, по-бабьи чувствителен, любил задушевные разговоры. Ему хотелось поделиться, посоветоваться с другом. Молодой капитан узнавал от Федьки много всего интересного.

Дядина наука не шла племяннику впрок, карьера двигалась медленно, следовательно из Федьки не получался. Рассеянный, забывчивый, он ненавидел возиться с бумагами, вычитывать протоколы, задавать по десять раз одни и те же вопросы, а главное, нервишки оказались слабыми. Недавно Дядя пристроил Федьку в 6-й отдел 2-го Главного управления, под крылышко хорошего своего приятеля полковника Патрикеева Сергея Васильевича. Отдел назывался «жидовским» (борьба с еврейским националистическим подпольем и агентурой израильской разведки). Дядя все верно рассчитал. Федька рожден был для агентурной работы. Круглые светло-голубые глаза, опущенные золотистыми ресницами, белесые брови, нежная, почти лишенная растительности кожа, маленькие пухлые губы, розовые и блестящие, словно смазанные сиропом. Казалось, его организм упорно сопротивляется взрослению, возмужанию, не желает расставаться со счастливым детством. Младенческие черты создавали иллюзию наивности, открытости. Улыбчивый простачок, он легко входил в доверие, умел пошутить,

посочувствовать, расслабить. Нащупывал мягкой своей лапой самые уязвимые места и в подходящий момент неожиданно выпускал когти.

Молодой капитан дорожил Федькиной дружбой, тем более Дядя-начальник о дружбе знал, перед съездом, как бы в шутку, попросил: «Ты уж там приглядывай за моим балбесом».

В перерывах в буфете он следил, чтобы Федька не смешил водку с шампанским, во время заседаний не давал заснуть, пихал в бок. Федька доверял ему, слушался, как старшего, хотя они были ровесники и в одинаковом звании.

Так, день за днем, он нянчил полезного балбеса, таращился на трибуну, делал вид, что внимательно слушает, и думал о Шуре.

Нечто свеженькое, необычное и в смысле внешности, и в смысле наплыва новых приятных ощущений, которые возникали во всем теле при одной лишь мысли о ней. Сирота, росла без матери, значит, не избалована, не капризна. Если и были у нее друзья-знакомые, то все остались в Нижнем Тагиле, обзавестись новыми в Москве она не успела. В издательстве в машиностроительном стрекочут на машинках полдюжины вдов и старых дев, с ними она вряд ли могла подружиться. Для соседей по коммуналке она заноза в заднице. В издательстве у начальства рыльце в пушку, взяли ее на работу с недооформленной пропиской. Никому не нужна, никого на свете у нее нет, хромя карга не в счет. Значит, будет полностью принадлежать ему, подчиняться и за все благодарить.

Сам опять появился в президиуме только в последний день съезда. Сразу посветлело, будто солнце пробилось сквозь тучи. Лица оживились, зарумянились, глаза заблестели.

Наконец Ворошилов объявил: «Слово предоставляется товарищу Сталину!» Зал взорвался овациями, долго не смолкали крики: «Товарищу Сталину – ура!», «Да здравствует товарищ Сталин!», «Слава великому Сталину!». Сам подождал несколько минут, движением руки уgomонил зал и заговорил.

Ласковый баритон, спокойная уверенная интонация, легкий приятный акцент, неспешное покачивание всем корпусом завораживали. И опять почудилось, что Сам обращается лично к нему, молодому капитану:

– Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять нам и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его некому больше поднять.

В паузах Сам оглядывал притихший зал и каждый раз среди множества лиц безошибочно находил молодого капитана, смотрел пристально, пронизывал насквозь своим испытующим отцовским взглядом.

Капитан чувствовал быструю горячую пульсацию крови, в мозгу неслись бешеным пунктиром ослепительные вспышки: «Здесь и сейчас, он и я. Гений всех времен и простой парень из грязной коммуналки. Великая честь. Поднять знамя и понести вперед. Я и Он. Мы. Патриотами своей страны... руководящей силой нации...»

Что-то твердое ткнулось ему в бок. На этот раз не он пихнул балбеса, а балбес – его. Он едва не подскочил от неожиданности и с трудом сдержался, чтобы не дать сдачи.

– Смотри, нимб! – зашептал Федька. – Нимб над головой товарища Сталина, как у святого на иконе! Видишь?

И правда, свет падал таким образом, что над головой Самого образовался золотистый светящийся овал. Стало обидно, что Федька первый заметил, мелькнула мысль: «Может, не такой уж ты и балбес?» Искоса взглянув на друга, он увидел, что тот отчаянно шмыгает носом и по щекам текут настоящие обильные слезы.

Его ответный шепот «Да, да, вижу!» потонул в грохоте оваций и криках: «Товарищу Сталину – ура!», «Да здравствует товарищ Сталин!», «Слава великому Сталину!».

* * *

Надя и Семен Ефимович ужинали ржаными гренками с сыром и вчерашним салатом. Оба молча жевали и читали. Посреди стола стояла массивная хлебница, она служила двойной подставкой. Со стороны Семена Ефимовича на нее опирался «Новый мир», со стороны Нади – «Вестник микробиологии».

Семен Ефимович вздохнул, поднял глаза от журнала, задумчиво улыбнулся и пробормотал:

– А все-таки он сказал «дед»!

– Он сказал «ди-ди», – откликнулась Надя, не отрываясь от чтения, – это могло означать «иди», так что не обольщайся.

– Какое «иди»? Конечно, он сказал «дед» и крепко ухватил меня за нос!

– Мг-м, твой правнук вундеркинд. В семь месяцев заговорил, в три года научится читать, в шесть закончит школу экстерном...

Телефонный звонок прозвучал так резко, что оба вздрогнули.

Аппарат стоял на столике в прихожей.

– Не дергайся, я возьму! – Семен Ефимович выскочил из кухни и закрыл за собой дверь.

Он старался говорить тихо, но Надя слышала каждое слово:

– Алло... простите, кто ее спрашивает? С работы? Представьтесь, будьте любезны... Нет, ее нет... не знаю...

Телефон звякнул. Семен Ефимович вернулся в кухню, сел за стол, взглянул на Надю поверх очков, наморщил лоб и почесал ухо. Он всегда так делал, когда волновался. Конечно, ему было не по себе от этих звонков. Он старался первым схватить трубку, сохранял ледяную вежливость.

– Дети забавляются, – произнес он, глухо кашлянув, – на этот раз голосок тоненький, девичий.

– Дети, взрослые, – Надя пожала плечами, – в любом случае какие-то кретины, которым делать нечего.

Семен Ефимович поддел вилкой кусок огурца:

– Зимой лучше покупать малосольные на рынке, чем эти, так называемые свежие. Ни вкуса, ни запаха. И витаминов, разумеется, никаких. – Он прожевал и добавил нарочито небрежным тоном: – Знаешь, я отключил звук. В клинике как-нибудь проживут без меня до утра, а Леночка вряд ли побежит к автомату на ночь глядя.

– С ума сошел? – Надя вылетела в темную прихожую, схватила аппарат, уронила, подняла, тихо чертыхаясь, попыталась найти колесико регулятора звука. Семен Ефимович вышел к ней, включил свет, взял у нее аппарат, повернул колесико от минуса к плюсу. Они вернулись в кухню.

– Никогда так больше не делай! – Надя зажгла огонь под чайником, прикурила от той же спички. – Мало ли что может случиться? Она же там совершенно одна, ты только представь: холод, темнота, Лена в будке с Никитой на руках, а мы не слышим, не отвечаем. Почему? Потому, что нам звонят какие-то кретины! Да плевать на них! – Она поперхнулась дымом и закашлялась сильно, до слез.

Семен Ефимович взял у нее сигарету, загасил, налил воды, протянул ей стакан. Она залпом выпила, вытерла глаза, высморкалась. Он открыл дверцы кухонного шкафа, вместо жестянки с чаем достал пачку пустырника.

– Что ты психуешь? Она там не одна, у нее есть муж.

– Муж? – Надя зло усмехнулась. – Ага, конечно!

Чайник засвистел. Семен Ефимович заварил пустырник.

– Надя, так невозможно, честное слово, ты же извелась совершенно и меня измучила. Мы с тобой решили, что обознались. В театре с девицей был не Антон, а кто-то похожий. У него такая типично актерская внешность...

– В тебе говорит мужская солидарность или трусость? – перебила Надя. – Ты сам первый узнал его, стиснул мне руку до хруста, зашептал: «Сиди тихо, не оборачивайся». Может, наоборот, стоило подойти в антракте, поздороваться?

– Продираться сквозь толпу, искать... – Семен Ефимович пожал плечами. – Зачем? Чтобы окончательно испортить удовольствие от Высоцкого? Не заметил, и слава богу.

– Заметил, – процедила Надя сквозь зубы, – только вида не подал. Когда я за столом завела разговор о «Гамлете», он даже не покраснел, честно глядел мне в глаза, улыбался, посмеивался.

– Вот именно! – кивнул Семен Ефимович. – Его реакция как раз подтверждает, что мы обознались. Откуда у мальчишки такая железная выдержка? Тоже мне, Штирлиц!

– Не выдержка, – Надя помотала головой, – наглость. Ошеломительная наглость.

– Ну, ты прямо демонизируешь Тосика. – Отец поставил на стол банку меда, коробку мармелада. – Смешно, в самом деле! Глотни пустырничку и успокойся.

Надя отхлебнула, сморщилась:

– Опять вместо чая пьем эту твою гадость.

– Ничего не гадость! Вполне терпимо, на ночь очень полезно, а в чае, между прочим, кофеину больше, чем в кофе.

– Особенно в «грузинском», второго сорта!

– Ладно. – Семен Ефимович откусил мармеладку и облизнулся. – Допустим, девица – его бывшая одноклассница или сокурсница. Пропадал билет, вот и пригласила по старой дружбе. Ну не мог же он ей сказать: «Извини, я хочу пойти с женой!»

– Папа, перестань! Давай хотя бы себе врать не будем.

– Не будем, – согласился Семен Ефимович, – мы закроем, наконец, эту тему, перевернем страницу и станем жить дальше.

– Хорошо бы. – Надя вздохнула и добавила про себя: – «Только ты не все знаешь».

После ужина Семен Ефимович мыл посуду, напевал песню про зайцев из «Бриллиантовой руки», повторял, перевирая мелодию: «А нам все равно», и вдруг заявил, не оборачиваясь:

– Кстати, девица вовсе не красивая. Вульгарная, лицо грубое. Нашей Леночке в подметки не годится.

– Напрасно ты не дал мне сказать, – неожиданно жестко выпалила Надя.

Он со звоном бросил ложки в сушилку.

– Я поступил правильно. А ты едва не сделала чудовищную, жестокую глупость.

– Глупость? – Надя поднялась, грохнув табуреткой. – Да еще чудовищную, жесткую? Значит, я виновата?

– Не передергивай, я тебя ни в чем не виню. И вообще, хватит об этом! Сколько можно? Мы, кажется, договорились забыть! – Он принялся ожесточенно тереть тарелку куском хозяйственного мыла, замотанным в старый капроновый чулок.

– Забыть?! – У Нади задрожал голос. – Забыть, что Леночка живет с мерзавцем?! Он обманывает ее, а мы знаем и молчим, покрываем его. Мы на его стороне, что ли?

– Нет, Надя, мы на ее стороне, мы не его покрываем, а ее бережем. – Семен Ефимович сполоснул последнюю чашку, выключил воду, вытер руки. – Что мы знаем? Что? Ну, сходил в театр с чужой девицей. Мы понятия не имеем, какие там отношения; в конце концов, мы не в койке их застукали.

– Еще не хватало!

– Допустим, он погуливает, подумаешь, какое дело? Перебесится, повзрослеет, я не знаю ни одного мужчины, который...

– Ты маме изменял?

Семен Ефимович застыл. Полотенце выскользнуло из рук, он наклонился, чтобы поднять, и стукнулся лысиной об угол кухонного стола. Надя кинулась к нему, усадила на диван, смочила полотенце холодной водой, приложила к шишке.

– Очень больно?

– Терпимо.

– Не тошнит? Голова не кружится?

– Не волнуйся, сотрясения мозга нет, – проворчал он сердито.

Она потерлась щекой об его плечо:

– Пап, ты обиделся?

– На кого? На угол стола?

– На меня. Я задала вопрос в духе Игоревны.

– Надя, Надя, при чем здесь Игоревна? Вопрос ты задала в духе твоего детского максимализма. Я хотел ответить «нет» и шарахнулся башкой.

– То есть – да? – Она затаила дыхание.

– На фронте случилась история, – Семен Ефимович глухо кашлянул, – фельдшерица, тихое, запуганное существо, не ахти как хороша и в возрасте...

– Фельдшерица, – ошеломленно повторила Надя.

С детства, сколько себя помнила, она была убеждена, что ее родители оставались верны друг другу с первого свидания до последних минут маминой жизни. Пусть все изменяют, пусть! Но ее родители – нет, никогда, ни за что! Представить папу с другой женщиной или маму с другим мужчиной просто дико.

Мамы не стало тринадцать лет назад, у папы за эти годы случилось два серьезных романа и два несерьезных, однажды он почти женился, но в последний момент передумал. Однако все, что происходило после мамы, уже не имело значения.

– И по мелочи, случайные сестрички...

– Не надо! – Надя зажала уши и помотала головой.

– Ты спросила, я ответил.

– Лучше бы промолчал.

– Прости. – Он тронул пальцем шишку. – Ну вот, уже почти не болит.

Надя отправилась курить на балкон. Куталась в плед, смотрела на темный заснеженный двор, думала: «Стареешь, а повзрослеть не можешь. Научись, наконец, принимать жизнь такой, какая она есть. Понять бы еще, какая она есть? Папа использовал эту шоковую терапию исключительно ради Лены, наглядно показал, что о некоторых вещах лучше не знать. Не случись встречи в театре, он молчал бы о фронтальной фельдшерице до конца своих дней и не покушался бы на мои детские иллюзии. Конечно, он прав, не надо ей говорить».

Через полчаса телефон опять зазвонил. На этот раз трубку взяла Надя, но не сказала «Алло». Молчала. И в трубке молчали.

* * *

Кручина откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Стюардесса склонилась к нему, спросила:

– Александр Владимирович, может, во второй отсек? Я провожу.

– Да, пожалуй.

Стюардесса помогла ему встать. Второй отсек представлял собой небольшой гостиничный номер с кушеткой и душевой кабинкой.

– Не дай бог малярия, – вздохнул посол.

– Или гепатит какой-нибудь. – Атташе быстрым движением долил себе в стакан остатки виски.

«Да, досталось тебе, – подумал Уфимцев, провожая взглядом маленькую понурую фигуру, – высунул нос из своей номенклатурной теплицы, нанюхался грубой реальности».

Он поднял шторку иллюминатора. Сквозь толстое стекло хлынула яркая синева. Внизу сияли перистые облака, будто прозрачные крылья небесных ангелов, просвеченные насквозь лучами закатного солнца. Он наконец осознал, что уже завтра будет дома. Повезло. Он должен был торчать в Нуберро до апреля, но Кручина получил приказ привезти в Москву посла, военного атташе и резидента. Всех троих вызвали с докладами на заседание Политбюро.

«Я обязан страшно волноваться, – думал Уфимцев, – впервые за свою долгую и не слишком успешную карьеру предстану перед Старцами. Поворотный момент, главный шанс, нельзя упустить. Понравлюсь Им, получу генеральские погоны и вылезу наконец из этой жопы мира на свет Божий».

Но он совсем не волновался. Забавная особенность нервной системы: дергаться по пустякам и сохранять безмятежную отстраненность, когда происходит нечто серьезное, значительное.

Доклад он набросал накануне ночью. Сейчас надо бы просмотреть, кое-что поправить, но неохота перечитывать этот бред, набор штампованных пустых фраз. Он позволил себе аккуратно, вскользь, упомянуть пережитки племенного и религиозного сознания и сразу добавил, что они, пережитки, с успехом преодолеваются. Страна медленно, но верно движется по пути построения социализма.

Юра вдруг представил, как встает перед Старцами и произносит следующее:

«Товарищи! Никаким социализмом там не пахнет. Мы вбухали в эту черную дыру немаленько денег. Мы их одеваем, обуваем, кормим, учим и лечим. Они так и будут брать, брать, брать и никогда ничего не вернут. Мегатонны нашей военной и сельскохозяйственной техники ржавеют и гниют под открытым небом по всему Африканскому континенту. Мы ублажаем и вооружаем психопата-людоеда, а ему все мало. Теперь он требует атомную бомбу. Что мы вообще делаем? Может, сначала одеть, обуть, накормить наш собственный народ?»

Последним аккордом выступления могла бы стать приветственная телеграмма Брежневу. Он прочитал бы ее громко, выразительно, слово в слово, без купюр: *«Я очин тибья лублу и еслы вы был женчина...»*

Бумажка так и лежала в кармане пиджака. Уфимцев тихо засмеялся, вообразив, какие будут лица у Старцев, и понял, что к докладу в принципе готов. Говорить следует все с точностью до наоборот. Врать по формуле из чеховского «Ионыча»: «Я иду, пока вру, ты идешь, пока врешь, мы идем, пока врем».

Неслышно подошла стюардесса, прошептала:

– Юрий Глебович, будьте добры, во второй отсек. Александр Владимирович просит вас подойти, и портфель его захватите, пожалуйста.

Кручина полулежал на высоких подушках. Под лампой блестели капельки пота на лысине. Маленькие короткопалые кисти безжизненно покоились поверх пледа, ногти побелели.

«Крепко вас скрутило, товарищ генерал, – подумал Уфимцев, – вот вы на экскурсию слетали, а я там живу».

– Юр, а вдруг правда малярия? – спросил Кручина. – Я от нее вроде не прививался.

– Малярия так скоро не проявляется, инкубационный период неделя в среднем, – объяснил Уфимцев, – прививки нет, только таблетки для профилактики. Вам наверняка их дали.

– Да уж, глотаю всякую химию горстями. Может, мне от этого так паршиво?

– Все вместе: химия, перемена часовых поясов и климата, стресс, усталость. Сядем в Афинах – там врач посольский.

– Ага, знаем мы этих врачей! – Кручина брезгливо скривился. – Ладно, дай-ка мне портфель. – Он приподнялся повыше, достал блокнот, ручку, футляр с очками. – Телеграмма у тебя?

– Вот она.

Генерал надел очки, стал читать, слабо шевеля губами. Уфимцев украдкой следил за его лицом, понимал, о чем он думает. Телеграмма ляжет на стол Андропову и станет маленьким оправданием провального визита. Верный преданный Кручина вовремя перехватил. Попади этот шедевр болванам-дипломатам, они бы отредактировали, вылизали, получилась бы обычная приветственная хрень, гладенькая, никому не нужная. Секретариат Леонида Ильича подмахнул бы вежливый ответ, и все. Но в руках Андропова пакостная писулька может стать неплохим козырем – если он решится показать ее Брежневу в натуральном виде.

Кручина аккуратно сложил листок, убрал в портфель и взглянул на Уфимцева поверх очков.

– Почему он вручил это тебе, а не послу, как положено?

– Потому, что это не официальное послание, а личное. Ну, и вообще, он никогда ничего не делает как положено. Африканский темперамент.

– И чего от него ждать, от этого темперамента?

– Сюрпризов. – Уфимцев развел руками. – Одно утешает: с ним не соскучишься.

– Да уж. – Генерал что-то чиркнул в блокноте. – Ну, как считаешь, может он переметнуться к ОП или к ГП?

«Никогда не скажет просто: китайцы, американцы, – заметил про себя Уфимцев, – даже в обычном разговоре, наедине, использует кодовые аббревиатуры. Из суеверия, что ли?»

Когда-то был только ГП – Главный Противник, американцы. Потом испортились отношения с Китаем и появился ОП – Основной Противник, китайцы.

– Трудно сказать определенно. – Юра вздохнул. – Понимаете, Александр Владимирович, тут как в старом анекдоте. Может слон съесть тонну мороженого? Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?

Александр Владимирович анекдота не понял или вообще не услышал. Лицо его выражало напряженную работу мысли. Он шурил светло-зеленые воспаленные глаза, трогал кончик мягкого курносого носа. Он будто вовсе забыл об Уфимцеве, ушел в себя. Наконец спросил:

– А Раббани что за фрукт?

– Из окружения Каддафи, тайную полицию возглавляет всего два месяца.

– Знаю. – Кручина откашлялся, словно до сих пор не мог очистить легкие от дыма сигары Птипу. – Ты докладывал, что он готов к переговорам. Почему все-таки увильнул?

– Боится повторить судьбу предшественника. Жить хочет.

– Мг-м, мг-м. – Кручина сдвинул белесые брови, пару минут молча водил пером по бумаге, потом, не поднимая глаз, бросил следующий вопрос: – А что с предшественником?

Историю Укабы Васфи, предыдущего начальника тайной полиции, Уфимцев подробно излагал в своих донесениях. К визиту генерал готовился тщательно, перекопал весь массив информации по Нуберро и, конечно, ничего не забыл.

«Нужны свежие детали, хочет оживить свой доклад Андропову, блеснуть осведомленностью». – Юра стал говорить медленно, чтобы генерал успевал записывать:

– В октябре прошлого года Васфи встретился в Дубае с представителем швейцарской торговой фирмы господином Йоханом Колли. Фирма занимается алмазами. Встреча была обставлена как переговоры о разработке алмазного месторождения на севере Нуберро. На самом деле Васфи по приказу Птипу прощупывал, на каких условиях американцы могли бы помириться с Птипу. Колли – штатный сотрудник ЦРУ.

– Знаю. Дальше.

«Еще бы не знать, решение о твоём визите приняли сразу после моей оперативной телеграммы об этих чертовых переговорах».

– Американцы готовы к более близким контактам, но исключительно тайным, чтобы Израиль не обиделся. О восстановлении дипломатических отношений и открытом сотрудничестве речь может идти только в случае смены власти.

– То есть они намекнули на государственный переворот? – Кручина оживился, даже щеки слегка порозовели.

– Ну, не совсем. Васфи спросил, они ответили вежливо, неопределенно. Отделались общими словами. Ясно, что от контактов они не отказываются, будут держать его на крючке, но рассчитывать на их поддержку он вряд ли может. Я присылал подробный отчет.

– Да-да. – Кручина поправил очки и перевернул страницу. – Ну, дальше!

– Дальше – Васфи вернулся домой, и через две недели ему отрубили голову. Части тела Птипу велел зажарить на вертеле и подать к столу на банкете в честь дня рождения своего старшего сына. Голова хранится в холодильнике дворцовой кухни.

– Слушай, а без подробностей нельзя? – Кручина брезгливо скривился. – Почему не сказать просто: Васфи ликвидировали?

«Ох какие мы чувствительные!» – усмехнулся про себя Юра и смиренно произнес:

– Извините, Александр Владимирович.

Генерал насупился, но извинение принял и нейтральным деловым тоном спросил:

– В чем конкретно обвинялся Васфи?

– Остается только гадать. Суда никакого не было, он его просто... – Юра осекся, кашлянул и произнес медленно, по слогам: – Ли-кви-ди-ро-вал.

– Должны быть какие-то причины. Может, у него все-таки имелись основания подозревать Васфи в тайном сговоре с ГП?

– Александр Владимирович, – Юра устало вздохнул. – Птипу постоянно чистит свое ближайшее окружение. Из тех, кто занимал ключевые должности в начале его правления, в живых никого не осталось. Васфи был последним, и вот пришла его очередь.

Кручина молчал почти минуту, сосредоточенно разглядывал свои ногти, издавал какие-то невнятные звуки вроде «Ту-ту-ту», наконец покосился на Юру:

– Слушай, а зачем он вообще полез к ГП? Мы ж ему все даем, неужели мало?

– Мало! У него расходы знаете какие? Два личных самолета, три яхты. Вот недавно купил себе виллу на озере Комо. Теперь надо красиво обставить. Мебель он любит антикварную, картины – обязательно подлинники...

– А, черт! – внезапно вскрикнул Кручина.

По странице расплзлась клякса.

Моду на перьевые авторучки ввел Андропов. Он их коллекционировал. Кручина во всем подражал Председателю, с шарика перешел на перышко и правильно сделал. Рука уставала меньше, а писать приходилось много. Выездные сотрудники дарили начальнику золотые перья. Однажды Юра решил тоже подольститься, купил в Риме серебряную «Скритторе», небольшую, тяжеленькую, строгой граненой формы, с тонким золотым пером. Она была так хороша, так приятно легла в руку, что он раздумал дарить Кручине, оставил себе. С тех пор с ней не расставался.

– Зараза, вот он, их хваленый «Мейсон»! Вроде в Лондоне куплен, – ругался генерал, вытирая пальцы сначала носовым платком, потом влажными салфетками. – Неужели подделка, китайское барахло?

– Все нормально, Александр Владимирович, – утешил Юра, – в самолете от перепадов давления чернила иногда текут.

– Так чего ж не предупредил?

– Да я как-то не обратил внимания, чем вы пишете. – Юра достал из кармана карандаш. – Вот, возьмите, самый надежный инструмент для самолета, паста в шарике тоже может потечь.

Кручина, кряхтя и ворча, отправился мыть руки, вернулся бледнее прежнего. Его покачивало, Уфимцев поддержал генерала под локоток, помог взобраться на кушетку, накрыл пледом и услышал:

– Смотри-ка, ГП, сволочи, даже не поставили условием разрыв с нами.

«Да им вообще ничего не надо делать, – подумал Юра, – достаточно просто не мешать нам заниматься этим идиотизмом».

Он пожал плечами и произнес:

– А им-то что? Чем больше денег мы на ветер выкинем, тем для них лучше.

– Мг-м, мг-м. – Кручина постучал по губам тупым концом карандаша. – Значит, он сам отправил Васфи на переговоры, а потом казнил. И ты абсолютно уверен, что Васфи не вел двойную игру?

– В каком смысле?

– В том самом! – Кручина перешел на шепот, вернее, зашипел, как вода на раскаленной сковородке: – Откуда у тебя такая уверенность? Почему ты исключаяешь, что Васфи продан ГП и готовил государственный переворот при поддержке ЦРУ? На каком основании ты это исключаяешь?

«Старая закалка, – подумал Юра, – опыт работы следователем и прокурором при Сталине оставляет вмятины вроде оспы, только не на лице, а в мозгу. Обязательно нужен заговор».

Он покачал головой и спокойно объяснил:

– На том основании, что всех, кто мог бы возглавить оппозицию, хотя бы слабую, хотя бы теоретически, Птипу давно ликвидировал. Васфи продержался дольше остальных именно потому, что не представлял для него опасности, был ему по-собачьи предан, собственных амбиций – ни малейших. Вообще ничего, кроме страха и обожания. Он ведь из племени Каква, а для них Птипу – живое божество.

– Ну да, ну да, – рассеянно пробормотал генерал.

Он опять ушел в себя, как будто даже задремал. Карандаш выпал из расслабленных пальцев, глаза закрылись. Уфимцев зевнул, вытянул ноги, удобней устраиваясь в кресле, и услышал:

– А все-таки жаль, не удалось побеседовать с Раббани. Я ведь не американец, подбивать на организацию переворота никого не собирался.

Глава шестая

После концерта и банкета в честь закрытия съезда он вернулся домой на рассвете, не раздевшись, рухнул на кровать. Проснулся бодрым, обновленным. Привычная гимнастика доставила ему какое-то особенное удовольствие. Каждое отжимание, приседание и подтягивание наполняло тело радостной искрящейся энергией.

«Девять, десять, одиннадцать... Мне ничего не почудилось, это вовсе не фантазии... Восемнадцать, девятнадцать, двадцать... Конечно, там, на съезде, Сам заметил меня, выделил из серой массы, потому что он гениально разбирается в людях, видит насквозь, знает все обо всех и о каждом... двадцать восемь, двадцать девять, тридцать...»

Чувство своей личности, избранности жило в нем с детства, но он не был уверен, постоянно взвешивал плюсы и минусы. Родился и рос в грязной коммуналке, отец путевой обходчик, мать уборщица, это, конечно, минус. Зато анкетные данные безупречны, предки по отцовской и по материнской линии – сплошь батраки да пролетарии, все русские, сомнительных примесей нет. Социальное происхождение и кровь чисты, как слеза младенца, хоть под микроскопом разглядывай. Это, конечно, плюс.

То, что он вообще появился на свет и выжил, колоссальный плюс. До него мать родила двоих, мальчика и девочку. Мальчик умер в полтора года от коклюша, девочку в роддоме заразили стафилококком, умерла в двухнедельном возрасте.

Отец запил не до, а после его рождения. Плюс, и не маленький. От алкоголиков часто рождаются придурки. Потом у матери из-за отцовских запоев случилось три выкидыша, и это сразу три плюса: не нарожала уродов. Такие родственники могли бы в будущем подпортить кристальную анкету. Еще два плюса – мать выжила, оправилась после выкидышей, а отец не сел в тюрьму, не стал инвалидом, а угодил спать под товарняк, то есть погиб на своем законном рабочем месте, при исполнении служебных обязанностей, в результате несчастного случая. Они с матерью остались вдвоем, и вся ее любовь досталась ему, единственному драгоценному сыночку.

Он растерся полотенцем докрасна и принялся внимательно изучать свое отражение. Да, точно, лицо у него необыкновенное. Чеканные мужественные черты определенно указывают на кристальную чистоту крови и принадлежность к элите человечества. Такие, как он, наделены сверхспособностями, призваны разоблачать и карать врагов, устанавливать свои порядки, побеждать и владеть миром. Не только внешность, но и биография – прямое тому подтверждение. Даже самые увесистые минусы в итоге оборачивались плюсами.

В 1940-м, когда ему исполнилось пятнадцать, ввели платное обучение: 200 рублей за девятый класс, столько же за десятый, а за каждый курс вуза по 400. Мать мечтала, чтобы он закончил десятилетку, поступил в вуз, он и сам этого хотел, но пришлось после восьмого идти в ФЗО при вагоностроительном заводе.

Летом 1941-го завод эвакуировали в Пермь. Призывной возраст настиг его в 1943-м, в глубоком тылу. Он работал учеником мастера, резво продвигался по комсомольской линии и призыву не подлежал. А вот пошел бы в девятый-десятый, не попал бы на оборонный завод и легко угодил бы в сорок третьем на передовую. Ладно, допустим, не сразу и не на передовую. Такого толкового активного комсомольца вполне могли бы направить на курсы работников особых отделов при Высшей школе НКВД. Оттуда прямая дорога в СМЕРШ. Вроде неплохо, вполне себе плюс, но лишь на первый взгляд, потому что СМЕРШ – это Абакумов Виктор Семенович, вчера всесильный министр, генерал-полковник, сегодня – разоблаченный враг, глава сионистского заговора. Вчера здоровенный мужик, наглый, хитрый, ненасытный. Сегодня – беззубый калека с отбитыми почками и переломанными костями. Вчера обитал в хоромаш, имел полдюжины постоянных любовниц и сколь угодно временных. Сегодня заклю-

ченный № 15 в Лефортове. Допросы круглые сутки, карцер-холодильник, кандалы, дубинка и плеть по самым чувствительным местам.

Большая чистка началась именно с ареста Абакумова и его заместителей летом 1951-го. Сегодня, осенью 1952-го, абакумовских людей в органах почти не осталось. Стало быть, тот факт, что он в СМЕРШе не служил, в органы пришел с комсомольской работы, можно считать самым главным плюсом в его жизни.

Каждый плюс – это аванс. Важно правильно им воспользоваться, а для этого надо шевелить мозгами, анализировать чужие минусы и делать выводы.

* * *

Дачный кооператив «Буревестник» раскинулся на берегу реки Сони в Красногорском районе Московской области, в двадцати трех километрах от МКАД. Доехать можно было на машине по Минскому шоссе либо электричкой от Белорусского вокзала до платформы Куприяновка.

Путь пешком от Куприяновки до «Буревестника» занимал полтора часа, если идти не спеша, с тяжелыми сумками, и минут сорок – если скорым шагом, налегке.

Справа вдоль шоссе, за ровными рядами молодых елок, простиралась пастбища животноводческого колхоза «Заря коммунизма». Слева рябило в глазах от березовых стволов. Рощу рассекала бетонка, крепкая, широкая, с канавками по обе стороны. Даже весной, в распутицу, по ней удавалось пройти в городской обуви, не замочив ног, и машины проезжали гладко, не подпрыгивая на ухабах, не брызгая грязью. Такие дороги Вячеслав Олегович видел только в буржуазной Европе.

«Буревестнику» повезло, ближайшим соседом был генеральский поселок Раздольное, общую дорогу клали солдаты, которые строили генеральские дачи под строгим присмотром генералыш. Солдатам тоже повезло. Строить дома и дороги в мягком подмосковном климате, на свежем воздухе все-таки лучше, чем проходить срочную службу где-нибудь в Средней Азии или на Земле Франца-Иосифа.

Оба поселка выходили на пологий песчаный берег Сони. В летнюю жару дачники, от младенцев до стариков, высыпали на пляж, чистый, закрытый для посторонних, с кабинками, зонтиками, огороженным «лягушатником» для малышей и вышкой, на которой дежурил солдат-спасатель: Соня в некоторых местах была глубока.

На противоположном берегу, крутом, высоком, вилась белым бинтом стена древнего, шестнадцатого века, мужского монастыря Иоанна Предтечи.

Места были обжитые, дачные. В девяностых годах девятнадцатого века купец Куприянов купил огромный участок земли, вырубил яблоневые сады и построил полсотни дачных домиков, каждый с душем и туалетом. Сезон открывался в начале мая, закрывался в конце сентября. Аренда стоила дорого, приезжали только состоятельные москвичи. Пять месяцев тут танцевали на благотворительных балах, ставили любительские спектакли, катались на лодках, варили варенье, писали стихи и акварельные пейзажи. На открытых верандах кипели самовары, хрипели граммофоны, над полянами летали теннисные мячи, в роще мелькали белые платья барышень, шуршали велосипедные шины. По утрам лился перезвон монастырских колоколен, гремели бидонами деревенские молочницы. Из купальных павильонов спускались по лесенкам в воду барышни в сорочках до щиколоток, молодые люди в смешных полосатых трико до колен.

Дачные домики сгорели, но сохранилась усадьба, построенная в начале девятнадцатого века в стиле ампира, окруженная старинным парком, с прудом, аллеями, беседками и скульптурами. После революции в усадьбе разместились клуб и правление колхоза «Заря коммунизма». Во время войны там устроили госпиталь, потом санаторий Министерства обороны для высшего командного состава.

Командному составу понравились эти красивейшие места, в конце пятидесятых рядом с санаторием выросли генеральские дачи, скоро присоседились генералы литературные: члены Правления Союза писателей, главные редакторы журналов и книжных издательств военно-патриотической направленности.

Участки давали щедрые, от двадцати соток и больше, дома строили просторные, в два-три этажа, с городскими удобствами. Печами, каминами и баньками дачники обзаводились просто ради удовольствия.

Стены и внутренние строения монастыря уцелели. В двадцатых посбивали кресты с куполов, сняли колокола, в кельях поселили беспризорников. В тридцатых там была тюрьма НКВД, во время войны оружейный склад, потом – конезавод им. Ворошилова. В бывших кельях жили конюхи, на монастырской территории построили конюшни, в храме оборудовали ветлечебницу. Обитатели поселков с удовольствием занимались верховой ездой.

Берега соединяли два моста – старинный, белокаменный, монументально красивый трехарочный акведук и современный, надежный, но неинтересный.

Вячеслав Олегович любил дачную жизнь, она напоминала ту, прежнюю, конца девятнадцатого – начала двадцатого века. Он родился в 1923-м, ту жизнь знал по Чехову, Бунину, Горькому, по картинам Коровина, Серова, Поленова, по открыткам, фотографиям, музейным интерьерам. Чем старше он становился, тем сильнее тянуло его туда, в незабвенное прошлое. Он тратил много времени и средств на старинные вещи и вещицы, охотился за ними в Москве и в провинции. Он предпочитал мебель в стиле русского национально-романтического модерна и неоклассицизма, но в московской квартире пышным, с высокими спинками, диванам, трехметровым, похожим на сказочные терема, буфетам было тесновато, они требовали простора, высоких потолков, чистого воздуха. Они просились на дачу.

На даче в гостиной нашел свое место гигантский обеденный стол из ясеня, с витыми ножками и причудливой резьбой по периметру столешницы, любовь и гордость Вячеслава Олеговича. Он купил его случайно, за бесценок, в разломанном, ободранном виде. На внутренней стороне столешницы сохранилось клеймо торгового дома «Мюр и Мерилиз». Реставрация обошлась дороже покупки и доставки, но это не важно. Стол – душа дома. За ним помещалось двадцать четыре человека, а если потесниться, влезало и тридцать. Важных гостей усаживали на мягкие гамбсовские стулья с подлокотниками, тех, кто попроще, – на длинную лавку со спинкой, а случайным («одноразовым» – по меткому выражению Оксаны Васильевны) доставались круглые табуретки с хохломской росписью, красивые, но неудобные.

Вячеслав Олегович обещал жене приехать на дачу засветло, но не получилось. Уснул около трех ночи, будильник не завел, проснулся поздно. За завтраком включил телевизор. Показывали телеспектакль по «Обрыву» Гончарова. Он увлекся. Очень любил этот роман, и постановка была неплоха. Потом решил все-таки посидеть над своими черновиками, хотя бы пару часиков, опять увлекся. Позвонила Оксана Васильевна: «Как?! Ты еще не выехал?!» Он принялся собираться, то и дело перезванивал на дачу, уточнял про скатерть, вилки, пряности и еще кучу всяких мелочей, которые жена просила привезти.

В машине он долго выбирал кассету. Наконец поставил оперу Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», тронулся под звуки увертюры, пересек МКАД; подпевая лирическому дуэту Февронии и Княжича, свернул в березовую рощу под хор толпы, смех и соло медведя на дудке. Нападение татар на Китеж, паника и отчаянное многоголосье «Ой, беда, беда идет, люди, ради грех наших тяжких» так разволновали его, что он едва не проскочил ворота своего участка.

Окна сияли уютным дачным светом, цветные стекла веранды отбрасывали на снег зеленые, красные, синие блики. Возле дома стояли две черные «Волги» и одна бежевая. На заснеженной лужайке блестела мишурой живая елка, рядом дымил мангал. Угли в нем помешивал прапорщик в валенках и телогрейке, личный повар генеральской четы Дерябиных.

Вячеслав Олегович выключил музыку, заглушил мотор и услышал странный звук, будто где-то кричали сразу несколько младенцев. На крыльце звук усилился, это был пронзительный невозможный визг. Галанов открыл дверь, и на него упала Оксана Васильевна, бледная до синевы:

– Славик!

От нее сильно пахло валерьянкой. Визг впивался в уши, резал мозг. Через плечо жены Вячеслав Олегович увидел генерала Федю Уральца в толстом свитере и старых домашних валенках. Рожа покраснелась, глаза блестели.

– Привет, хозяин, заждались тебя, тут, видишь, какая история...

На веранде было холодно, у Феди изо рта валил пар с отчетливым коньячным запахом. Полные плечи Оксаны Васильевны дрожали под легкой пуховой шалью.

– Славик, – бормотала она, повиснув на нем всей тяжестью, – ужас-ужас-ужас...

Визг внезапно оборвался. Послышались мужские голоса и смех, в дверном проеме возникла массивная фигура генерала Вани Дерябина.

– А-а, Славка, ты, как всегда, самое интересное пропустил. – Генерал хлопнул по спине Оксану Васильевну. – Ну-ну, Ксанчик, хорош трястись.

– Привет, Иван, что происходит? – Вячеслав Олегович осторожно попытался отстранить жену.

Она намертво вцепилась в воротник его дубленки и продолжала бормотать как в бреду:

– Ужас-ужас-ужас!

– Ты, Слав, главное, не волнуйся, – загудел сиплый басок Уральца, – тут, видишь, какая история, колхозники поросят привезли, молочных, только...

– О! Вот и наш герой! – радостно воскликнул генерал Ваня. – Прошу любить и жаловать.

Посреди веранды стоял, широко расставив ноги, невысокий лысый крепыш лет сорока пяти, в ковбойке с закатанными рукавами, в цветастом фартуке Клавдии. Он выскользнул из кухни бесшумно, как призрак. Розовый череп сиял под люстрой, поблескивали крутые румяные скулы, короткий приплюснутый нос.

«Какой гладкий, – заметил про себя Галанов, – будто глазурью облит».

– Добрый вечер, Вячеслав Олегович, – произнес приятный баритон.

Галанов поздоровался и машинально пожал протянутую крепкую кисть.

– Эх, Славка, Славка! Даже не представляешь, как нам сегодня повезло! – возбужденно бухтел генерал Федя.

Оксана Васильевна наконец опомнилась, отпустила воротник дубленки:

– Да уж, повезло, подфартило. Поросят привезли живых, я хотела назад отправить...

– Отправить! – пискляво передразнил ее Федя. – Хорош был бы стол без поросят! Спасибо нашему дорогому профессору, выручил, взял на себя нелегкую мужскую работу.

Все посмотрели на «Глазурованного», тот скромно улыбнулся. Оксана Васильевна выдавила ответную улыбку:

– Да-да, спасибо, извините за такую мою реакцию, просто они кричали, будто младенцы. – Она поправила прическу, одернула кофточку. – Неужели нельзя как-то иначе, гуманней, ну, я не знаю, усыпить, чтоб не мучились.

– Наркоз дать? – хихикнул генерал Ваня.

– Ксанчик, солнце мое, тебя же предупреждали, вон, слабонервные все заранее ушли воздухом дышать, а ты... – Генерал Федя укоризненно покачал головой. – Упрямая она у тебя, Славка, ох, упрямая.

Снаружи слышались шаги, голоса, в дверь постучали.

– Можно, можно! – пробасил Федя. – Страсти-мордасти закончились.

Веранда наполнилась запахом свежего снега, холодного меха, дорогого парфюма, топотом, щебетом, паром дыханий.

С прогулки вернулись генеральша Дерябина, седовласая, высокая, статная, в коричневой норке, их дочь Вера, Уфимцева по мужу, сорокалетняя белокурая красавица, в серебристой норке, в ярком павловском платке, их внук, пятнадцатилетний Глеб, в дутой канадской куртке с капюшоном, супруги Сошниковы с дочками-близнецами, жена Уралья, Зоя, толстуха в каракуле, с пятилетним, закутанным до глаз, внуком, Клавдия, в дохе и валенках, супруги Потаповы. Последней влетела хохочущая, засыпанная снегом парочка: сын Потапова, Станислав, аспирант филфака МГУ, и Вика, младшая дочь Вячеслава Олеговича и Оксаны Васильевны.

* * *

Комбинезон так и не высох, но торчать в квартире стало уже невозможно. Надо было хотя бы дойти до гастронома, купить еды.

Лена достала из шкафа старую цигейковую шубку, которую носила с четырех до шести лет. Шубка пованивала нафталином и ждала, когда подрастет Никита. В санки постелила байковое одеяло, надела на Никиту два теплых костюмчика, упаковала его в шубку, замотала шарфом.

Морозец был легкий, не злой. Ветер утих. Справа, за белым пустырем, на пригорке, виднелась прозрачная лесная опушка, светлые тучи висели так низко, что казалось, верхушки сосен щекочат их пухлые подбрюшья. Слева тянулись одинаковые серо-белые новостройки с рядами балконов, как тетрадные листки в линейку. До цивилизации с универсамом, поликлиникой, аптекой, почтой – четыре автобусные остановки, а до метро – семь.

Автобус ходил редко, на остановке собралась толпа, да и все равно с санками не влезешь. Она отправилась пешком по обочине, вдоль трассы. По утрамбованному снегу санки скользили довольно легко, правда, иногда приходилось перетаскивать их вместе с Никитой на руках через шершавые окаменевшие кучи песка и глины.

На улице Никита сразу успокоился, с любопытством глядел по сторонам. В коляске с высокими бортами он мог видеть только небо. В санках открывался широкий обзор. Лена подумала, что для него это почти кругосветное путешествие. Глазищи сияли, щеки порозовели. Помпон вязаной шапки покачивался, санки прыгали на ухабах, эти подскоки Никиту смешили. Он запрокидывал голову, широко открывал рот, заливался хохотом. В шубке он был похож на медвежонка Васю.

Из универсама на улицу торчал хвост. Выбросили бананы, а в молочном давали глазурованные сырки и только что привезли свежую развесную сметану. Не зря Лена прихватила чистую банку с крышкой. С тех пор, как стала кормящей мамашей, от сметаны дрожала, будто кошка.

За бананами и в кассу она заняла заранее, к молочному встала. Кроме банки и капроновой сумки имелся у нее с собой свежий номер журнала «Юность», но вытащить не успела, Никита захныкал, пришлось брать на руки. Держать его в шубке было неудобно, тяжело, он вертелся, пытался высвободить руки из длиннющих рукавов. Лена сняла с него шубку, бросила в санки.

Так и стояла, баюкая, утешая, подталкивала санки ногой по мере движения очереди, сначала в молочный, потом за бананами, потом в кассу, всего часа полтора. Спасибо, продавщица закрутила для нее крышку сметанной банки (другие сами закручивали) да какая-то бабулька подержала мешок, помогла уложить продукты.

– Хоть восьмилетку окончить успела? – спросила она, с любопытством заглядывая в глаза.

– Успею еще. – Лена присела на корточки, принялась упаковывать Никиту в шубку.

– Ну, а лет сколько тебе?

– Чертова дюжина. – Лена застегнула шубку, замотала Никитку шарфом и поволокла санки к выходу из универсама.

– Ой ты боже ж ты мой! – запричитала ей вслед бабуля. – А муж-то есть?

– Всего доброго, спасибо за помощь! – Лена вежливо улыбнулась и помахала рукой.

На последних месяцах беременности и после родов ей приходилось постоянно выслушивать вопросы и комментарии уличных доброхотов по поводу ее слишком юного возраста. Она выглядела не старше четырнадцати. Маленькая, худющая, темно-русые волосы заплетены в тугую косичку, из-под длинной челки глядят широко распахнутые глаза, темно-серые при пасмурной погоде и ярко-синие при солнечном свете. Когда ее спрашивали о возрасте, она врала, забавлялась. Ну не объяснять же каждой сердобольной тетеньке, что ей уже девятнадцать, что в декрет она ушла со второго курса мединститута, а ребенка родила от законного мужа!

Да, она взрослая женщина, у нее есть муж, он любит ее и Никиту. Никто никогда не задаст Никите вопрос: деточка, а где твой папа?

Глава седьмая

Историю падения Абакумова он знал от Федьки Уральца во всех подробностях. В Центральном Аппарате и на местах многие считали, что Абакумова погубила случайность. Шептались: погорел из-за пустяка, из-за Окурка.

«Окурком» называли старшего следователя следственной части по особо важным делам подполковника Рюмина Михаила Дмитриевича. Он отличался тупостью, надменностью, умудрялся при своем карликовом росте смотреть свысока на товарищей, всех раздражал, постоянно, будто нарочно, нарывался на неприятности. То начальству нахамит, то папку с секретными документами забудет в служебном автобусе.

Окурочек вел дело о сионистском заговоре, работал с одним из главных заговорщиков по фамилии Этингер.

Этингер был старик, тюремные врачи предупреждали, что у него слабое сердце и он в любой момент может отбросить копыта. Абакумов приказал допросы прекратить, переключил Рюмина на другое дело, но Окурочек только вошел во вкус, приказ проигнорировал, каждый день мотался в Лефортово, часами допрашивал Этингера и перестарался. После очередного допроса старик свалился замертво.

Никто не сомневался: все, Окурочку конец. Началось внутреннее расследование. Выяснилось, что Рюмин наврал во всех анкетах, скрыл свое социально чуждое происхождение. Отец его до революции был богатым скототорговцем. Родные сестра и брат привлекались за воровство, тесть воевал у Врангеля.

Окурочку светило снятие с должности, исключение из партии, арест. И вот тут Окурочек всех удивил: накатал в ЦК телегу на министра Абакумова, мол, именно он, Абакумов, специально довел до смерти подследственного, чтобы тот не успел раскрыть ведущую роль его, Абакумова, в сионистском заговоре, который пронизал своими щупальцами органы, сверху донизу.

В результате Абакумова арестовали, а Рюмин стал полковником, начальником Следственной части и через пару месяцев занял должность замминистра.

Как раз тогда, осенью пятьдесят первого, он, выпускник Школы следственных работников, оперуполномоченный Свердловского райотдела МГБ, был переведен в Центральный Аппарат, сначала в 6-й следственный отдел 5-го оперативного управления, потом, уже в звании старшего лейтенанта, в Следственную часть по особо важным делам. Лишь совсем недавно, в сентябре, он получил капитанские погоны, должность младшего следователя и небольшую казенную квартиру в ведомственном доме на Покровском бульваре, ту самую, в которой сейчас стоял у зеркала в ванной комнате и решал уравнение с двумя неизвестными. Окурочек Рюмин и Глыба Абакумов.

Конечно, у Рюмина имелись покровители на самом верху, иначе вряд ли он осмелился бы наплевать на приказ министра, тем более накатать телегу. Это ясно. И все-таки, каким образом Окурочку удалось обрушить Глыбу?

Молодой капитан взял маникюрные ножницы, принялся аккуратно подстригать волоски усов, таких же густых и красивых, как у Самого, только не черных с проседью, а пшеничных, и вдруг понял, что уравнение в принципе нерешаемо, потому что условия заданы неверные. Окурочек не мог обрушить Глыбу. Рюмина использовал секретарь ЦК Маленков Георгий Максимилианович, чтобы на место Абакумова сунуть своего человека, нынешнего министра МГБ Игнатьева Семена Денисовича.

Капитан вдоволь налюбовался круглой, как блин, рожей Маленкова, когда тот зачитывал нуднейший отчетный доклад на съезде, и не раз видел вытянутую постную физиономию

министра Игнатьева. Оба типичные чинуши, карьеристы, стараются изо всех сил угодить Самому. Абакумов тоже старался.

Он отложил ножницы, взбил пену и намылил щеки. В чем же разница между Абакумовым и Маленковым, между Абакумовым и Игнатьевым? Да ни в чем! Можно сколько угодно менять неизвестные в уравнении – оно останется нерешаемым. Все кадровые перестановки в руках Самого. Понять его тактику и стратегию способен лишь тот, кто мыслит в государственных масштабах. Ничтожества суетятся, интригуют, пекутся о своих мелких обывательских выгодах. Великий Человек ставит перед собой великие цели, а ничтожеств использует как расходный материал.

Безопасная бритва осторожно скользила по намыленным щекам и подбородку, губы шевелились, беззвучно бормотали:

– Заговор. Раскрыть и разоблачить сионистский заговор. Тактическая задача – добиться признаний, собрать неопровержимые доказательства. Стратегическая – уничтожить этих вырождаков раз и навсегда.

Да, после съезда он стал другим человеком, прошел обряд тайного посвящения. Карьера, квартира, спецнаек – это здорово. Но теперь он знал, что есть нечто несоизмеримо большее: Цель, Миссия.

Послышался тихий дробный стук и скрежет по шершавому металлу. Он отложил бритву, оглядел ванную комнату. Матовые шары светильников, сверкающий никель кранов, стены, отделанные белоснежной плиткой, тонкий синий орнамент бордюра под потолком – все излучало покой и безопасность. Взгляд уперся в решетку вентиляционной отдушины. Нет, звуки шли не оттуда. Он медленно повернулся, уставился на узкое окно. Прохладный ветер из открытой форточки покачивал белую батистовую шторку. Он мгновенным движением отдернул шторку. На карнизе сидела мокрая всклокоченная ворона. Две черные бусины уставились ему в глаза. Он стукнул костяшками пальцев по стеклу. Ворона в ответ поскрежетала когтями. Он опять стукнул. Ворона вздыбила перья. Из-под хвоста медленно вытекла и шлепнулась на карниз густая зеленоватая мерзость.

– Вон! Пошла вон, тварь!

Он не рассчитал силу удара. Стекло треснуло. Ворона раскинула крылья, поднялась в воздух и, громко каркая, улетела.

* * *

Перед Новым годом Антон Качалов влез в долги, надеялся подработать во время школьных каникул на елках. Ему предстояло сыграть Карабаса-Барабаса в клубе фабрики «Большевичка», Старика Хоттабыча в Детской библиотеке им. Светлова и безымянного пирата в новогоднем спектакле во Дворце пионеров им. Крупской.

В провинции найти халтурку легче и платят больше, но замаячила приличная роль в многосерийном телефильме, сразу после Нового года предстояло пройти кинопробы, поэтому в ближайшую неделю уезжать из Москвы не стоило.

Утром первого января он вышел из дома в дрянном настроении. Позади осталось изумленное, обиженное Ленкино лицо, капризный утренний хнык Никиты, карниз, который он обещал повесить, постельное белье, которое уже неделю собирался отнести в прачечную, и куча других нудных домашних дел. Он еще не решил, как долго предстоит Ленке ждать его. Пусть хорошенько понервничает. Заслужила. Трудно поверить, что ей не удалось уломать дедулю насчет прописки. Дедуля ее обожает, на все готов ради нее. Значит, Ленка даже не пыталась с ним поговорить.

Сама по себе прописка не особенно заботила Антона, он ведь не провинциал из общаги. Москвич во втором поколении. Но это стало вопросом принципа. Мать пилила: «Почему они

тебя не прописывают? Не знаешь? А я скажу! Потому, что не уважают, презируют, считают, что ты их Леночке не ровня!»

Мать вообще была язва, ни о ком никогда доброго слова не сказала, Ленку возненавидела с первого взгляда. Обычно он пропускал ее треп мимо ушей, но на этот раз она его достала, ударила по больному месту. Дело в том, что однажды он уже собирался жениться, давно, еще в институте. Девушка была так себе, ни кожи ни рожи. Сутулилась, носила очки. Зато внучка академика. Квартира четырехкомнатная на Арбате, дача в Серебряном Бору.

Академическое семейство сразу его полюбило, он легко их всех обаял. Настало время знакомить будущих родственников. Антон заранее провел инструктаж, отцу запретил материться и пить больше двух рюмок, матери – задавать идиотские вопросы, лезть со своим мнением. Обоим велел больше улыбаться, молчать и слушать.

В назначенный день и час он привез их на дачу в Серебряный Бор, все вроде шло нормально, родители вели себя точно по инструкции, академическое семейство приняло их приветливо. Через пару недель предстояло подавать заявление в ЗАГС, но невеста стала избегать его, а когда наконец встретились, заявила: «Прости, мои все в шоке, и я, честно говоря, тоже. Никто представить не мог, что у тебя такая мама. Ну, как бы тебе это объяснить? В общем, из другого мира».

Антон вспылел, послал невесту на три буквы. Остался тяжелый осадок, мучили комплексы. Что же получается? Его красота, обаяние, талант ничего не значат? Мама им, видите ли, не понравилась! Из другого мира!

Потом у него было много разных, иногда две-три одновременно. Он с ними легко сходился, легко расходился и ни одну не приводил домой, не знакомил с родителями. Мать приставала: «А девушки никакой, что ли, нет у тебя?» Он отвечал: «Конечно, есть!» Она требовала: «Ну, так приведи, покажи!» Он отмахивался: «Отстань!»

С каждым годом она все сильнее его донимала: «А чего это ты не женишься? Принцессу ждешь? Ты вот послушай мать, держись от всяких этих фиф подальше, возьми какую попроще, поскромней, чтоб знала свое место».

Ленка была типичная «фифа-принцесса», правда, не академическая внучка, всего лишь профессорская. Небольшая квартирка на Пресне, дача-сараюшка в Михееве. Зато в отличие от той, первой, красивая.

Красивых много, бери – не хочу, но от Ленки он прямо балдел, дрожал от одного только запаха. Что-то в ней было необычное, вдохновляющее. В начале их романа он не замечал других, только на нее смотрел, только о ней думал. Какая там квартира-дача, не важно, главное – Ленка! Он сказал отцу, по-тихому, когда мать не слышала: «Знаешь, пап, я, кажется, влюбился». Отец сразу бутылку на стол: «Ну, сынок, молодец, давай женись!»

Ленка очень скоро от него залетела. Ни одна из его прошлых почему-то не залетала, может, специально предохранялись, а может, просто не судьба. Прежде чем знакомить семьи, он привел Ленку домой, к своим. Мать, конечно, фыркала, нос воротила. Ленка потом плакала у него на плече: «Мне сквозь землю хотелось провалиться, она так смотрела... эти вопросы, замечания...» Но в общем, ничего обидного о матери он не услышал, никаких там «из другого мира». А что мать злыдня, он и сам знал.

Ему понравился его новый статус: муж, будущий отец, а главное, удалось наконец доказать матери, что он взрослый, самостоятельный мужик. Доказать и удрать от нее подальше.

Они с Ленкой были красивой парой, на них оглядывались. Но скоро у нее расплылась талия, появились какие-то пятна на лице. Она подурнела, потяжелела, помешалась на правильном питании, запрещала ему курить даже у открытого окна, и походка у нее стала как у гусыни. В таком виде она его совсем не вдохновляла.

Когда она родила, навалилась куча бытовых проблем и обязанностей. Никита орет, не дает спать ночами, пеленки, подгузники. Ленка сонная, хмурая, вечно ей что-то надо, вечно чем-то недовольна.

В этой неромантической атмосфере Антон задышался, при любой возможности удирал из дома. Он ведь артист, человек нервный, чувствительный, творческая натура, ему необходимы свежие впечатления, положительные эмоции.

На автобусной остановке не было ни души, нормальные люди отсыпались после новогодней ночи. Водители автобусов, наверное, тоже. Он прождал минут десять, продрог, выкурил сигарету и пошел пешком до метро. Шагал и думал: «Хорошо бы сдать на права, папин “запорожец” ржавеет в гараже, починить, почистить и кататься, как белый человек. У Ласкиных “москвич”, хоть и старый, но вполне еще фурычит... Ага, размечтался, дадут они тебе доверенность, ты для них с самого начала был “из другого мира”, а теперь вообще никто!»

На полпути его обогнал автобус. Антон припустил галопом, домчался до остановки, успел впрыгнуть в заднюю дверь в последнюю минуту, плюхнулся на свободное сиденье, отдышался и услышал:

– А за проезд платить Пушкин будет?

В салоне сидели человек семь, все дремали, но нашлась одна бодрая бабка. Антону на таких везло, ему часто делали замечания в общественных местах всякие бдительные граждане пенсионного возраста. Мать говорила: это потому, что у тебя внешность яркая.

– Единый! – сообщил он и поднял руку с картонной карточкой.

– Так это ж за декабрь, а сегодня уже январь, – не унималась бабка.

Она говорила громко, чтобы все слышали, в том числе и водитель. Сонные пассажиры стали просыпаться. Антону очень захотелось вступить в перепалку со старой дурой, это помогло бы отвлечься от назойливых вопросов, которые со вчерашнего вечера крутились в голове и не давали покоя: «Вдруг все-таки заметили? Что, если расскажут Ленке?»

Он хмуро покосился на старуху. Она завопила еще громче:

– Ну, че смотришь? Давай плати!

Антон представил, как на глазах у пассажиров подходит к ней и – кулаком по гнусной харе. Ничего подобного он бы не сделал, но, может, и зря. Надо давать выход отрицательным эмоциям, держать их в себе и накапливать вредно для здоровья.

По лицу он никого никогда в жизни не бил, даже в детстве не дрался, и в армии повезло, попал в художественную самодеятельность. Но вот поругаться, поорать уметь, мать хорошо натренировала. Он быстро вспыхивал и долго, трудно остывал, правда, довольно точно чувствовал, когда можно вспыхнуть, а когда не стоит. Сейчас не стоило. Перепалка могла закончиться не в его пользу. Единый действительно просрочен. Лучше заплатить и спокойно доехать до метро.

Антон встал, прошел по салону, кинул пятак в кассу, оторвал билетик, взглянул на цифры. Если суммы первой и второй тройки совпадут, билет надо съесть и будет счастье. Антон в это верил. Загадал: совпадут суммы, значит, все в порядке, они не заметили, пронесло, можно успокоиться и больше не дергаться по этому поводу.

Суммы совпали. Антон вздохнул с облегчением. Как только вышел из автобуса, разжевал и проглотил счастливый билетик.

В метро было почти пусто. В вагоне после новогоднего веселья слегка пованивало кислятиной. Антон сел, пошарил взглядом по лицам и уперся в молодое, женское. Всегда и везде он первым делом искал глазами какую-нибудь хорошенькую, пялился, пока не получал ответный взгляд, и начинал игру. Иногда игра имела продолжение, он засчитывал себе очередную победу, иногда не имела. Счет ноль-ноль. Ничья.

Хорошенькая читала журнал «Сельская молодежь», на внимательный взгляд Антона не отвечала. Он продолжал пялиться, просто по привычке. Когда проехали Улицу 1905 года, он

поднялся, встал у двери и сумел разглядеть хорошенькую повнимательней. Вблизи склоненный над журналом профиль разочаровал его. Нос уточкой, на скуле запудренный прыщ, комки туши на ресницах.

Он вышел на Баррикадной, бодро зашагал по широкому свободному вестибюлю к переходу на Краснопресненскую, размышляя, куда лучше отправиться: на Проспект Мира к Людмиле или на Новослободскую, к Тоше.

* * *

Галанов не ожидал увидеть дочь, удивился, обрадовался, разволновался. Месяц назад Вика в очередной раз вдрызг рассорилась с матерью и поклялась, что ноги ее больше не будет на даче.

Вбежав на веранду, она кинулась к отцу на шею, расцеловала, затараторила, как в детстве:

– Папище-папулище! Соскучилось по тебе твое детище, веселое, непутевое!

– Вот уж точно непутевое, – проворчал он и спросил шепотом: – С мамой помирилась?

Этот вопрос он задавал много лет подряд, сотни раз, и всегда получал один и тот же ответ:

– А я с ней не ссорилась.

Маленькая Вика отвечала со слезами, и дальше – трагический монолог: «Не понимаю, в чем виновата, я хорошо себя вела, а она...» Вика-подросток вспыхивала, убегала, хлопала дверью. Нынешняя, двадцатилетняя, просто меняла тему, рассказывала какую-нибудь смешную историю или анекдот:

– Отправили в космос Белку, Стрелку и чукчу. Пошел первый виток, с Земли вызывают: «Белка!» – «Гав!» – «Нажми красную кнопку!» – «Гав-гав!» Пошел второй виток. «Стрелка!» – «Гав!» – «Нажми синюю кнопку!» – «Гав-гав!» Пошел третий виток. «Чукча!» – «Гав!» – «Что ты гавкаешь? Накорми собак и ничего не трогай!»

Анекдоты Вика рассказывала в лицах, разыгрывала маленькие актерские этюды. Вячеслав Олегович смеялся и с гордостью отмечал, что смеются все, кто слышит.

– Какая же она у вас очаровательная, артистичная, прелесть! – сладко пропела генеральша Дерябина.

Да, нынешняя Вика умела и любила нравиться, но так было не всегда. Вячеслав Олегович помнил ее мрачно-капризным ребенком с хроническим насморком и диатезной сыпью, толстым сутулым подростком с прыщами и мучительным заиканием.

В раннем детстве единственным человеком, которого она слушалась, была няня Дуся.

Дуся появилась в их доме, когда родился старший, Володя. Одинокая деревенская баба, молчаливая, грубая, совсем простецкая, но приходилось терпеть. Обойтись без помощницы они не могли. Оксана Васильевна работала тогда инструктором в райкоме комсомола. Володя в яслях постоянно болел, из детского сада убегал, а дома с Дусей становился крепким, румяным, жизнерадостным. Решили оставить ее до школы, искали через знакомых кого-то покультурней, ведь не с Дусей же будет Володя уроки делать. Но пока искали, родилась Вика. Роды дались Оксане Васильевне тяжело, да и сын, как нарочно, стал обидчивым, упрямым, дерзил родителям, только Дуся с ним справлялась.

Молоко у Оксаны Васильевны пропало почти сразу. Дуся кормила Вику из бутылочки, сначала думали, что молоко с детской кухни при поликлинике. Потом выяснилось: Дуся договорились с какой-то кормящей мамашей из соседнего дома, та сцеживает свое молоко для Вики. Иногда во время прогулки Дуся приносила ребенка к ней домой, и чужая женщина кормила Вику грудью.

Вячеслав Олегович не нашел в этом ничего дурного, наоборот, хорошо: кормилица, как в старые добрые времена. А вот жена впала в ярость, и почему-то особенно оскорбило ее, что Дуся платила кормилице из собственного скудного жалованья.

Разразился скандал, Оксана Васильевна выставила Дусино барахлишко на лестничную площадку, нянька ушла бы навсегда, но Володя устроил истерику, Вика посинела от крика. В итоге Вячеславу Олеговичу пришлось извиниться перед Дусей и попросить ее остаться. Впрочем, одну победу в том бою Оксана Васильевна все-таки одержала: от кормилицы отказались.

У Вики потекло из носа, щеки покрылись диатезной сыпью. Оксана Васильевна таскала ее по врачам, кормила таблетками, что-то закапывала в нос, но становилась только хуже. Вика расчесывала щеки до крови, плохо спала, не могла дышать носом.

Дуся хозяйке не перечила, молчаливо и хмуро выполняла свои обязанности: гуляла с Викой, встречала Володю из школы, готовила, кормила детей, прибирала в квартире, стирала, гладила. Летом, на даче, возилась в огороде, вечерами вязала детям носки и шарфы. Ее присутствие почти не ощущалось, но однажды она заболела, легла в больницу на неделю, и в раковине выросла гора грязной посуды, у Вики начался понос, Володя потерял дневник и защемил себе палец дверью. Когда Дуся вернулась, Вячеслав Олегович втайне от жены повысил ей жалованье в полтора раза.

Володя подрос, к Дусе охладел, а Вика и в два, и в пять только из ее рук кушала, только под ее сказки засыпала.

Однажды летом на даче, навещая вместе с мамой и папой знакомого жеребенка в конюшне им. Ворошилова, Вика вдруг заявила:

– А я знаю, кто ему так красиво гривку и хвост расчесал.

– Ну, и кто же? – рассеянно спросили родители.

– Монахи, – серьезно ответила девочка. – Божье войско, они тут давно жили, бедным-несчастливым помогали, потом красные черти налетели, монахов убили, а они взяли да и не померли. Каждую ночь приходят, деток утешают, глупых вразумляют, злых умиряют, за лошадками ухаживают, Боженьке молятся за спасение души.

Родители молча, испуганно переглянулись. Они, конечно, сразу узнали интонацию и лексику няни Дуси.

Оксана Васильевна провела тихое тщательное расследование. Володя признался, что няня иногда водит их с Викой в церковь у метро Сокол. В детской, в глубине шкафа, нашли вышитый льняной мешочек, в нем две белые рубашонки с кружевом, два маленьких алюминиевых крестика на красных шнурках и несколько дешевых картонных иконок.

Собственных крестин Володя не помнил, зато помнил Викины, рассказал, что когда они с Викой болеют, няня поит их святой водицей, надевает на них крестики, а крестильные сорочки вместе с иконками кладет под подушку. Затем, прикрыв глаза, шепотом, без запинки, прочитал «Отче наш...», «Символ веры», «Да воскреснет Бог...» и трижды перекрестился.

– Сынок, милый, что же ты молчал? – ласково спросила Оксана Васильевна.

– Прости, мама, я боялся, что вы с папой будете нервничать.

Еще бы им не нервничать! Она – замзав отдела пропаганды горкома комсомола, он – заведомом литературы и искусства в журнале «Советский патриот», оба, естественно, члены КПСС, а он еще и парторг секции критиков в Союзе писателей.

Шел шестьдесят третий год, Хрущ яростно боролся с религиозными пережитками. Кто-то стукнет, оглянуться не успеешь, вылетишь с работы и из партии. Это сейчас, при Брежнев, стало модно украшать стены иконами, показывать их гостям вместе с палехскими шкатулками, федоскинскими лаковыми миниатюрами, тульскими самоварами, городецкими сундучками и прялками. На Пасху принято подавать к столу крашеные яйца, восхищаться величием кафедральных соборов и умиляться церквушкам в русской глубинке. Не грех признаться, что у тебя «бабушка верующая» и православные традиции ты очень даже уважаешь: они наши, русские, исконные. Но все это только шепотом, среди своих, в узком кругу. Если пойдешь причащаться, венчаться, ребенка крестить и кто-то стукнет (стукнут непременно: батюшка – по

долгу службы, свои, из узкого круга – по привычке), получится нехорошо. Никто и не ходит. Вот «бабушку верующую» отпеть в церкви можно. Сейчас. А тогда, при Хруще, – ни-ни.

– Ты об этом никому не рассказывал? В школе, во дворе, в Доме пионеров? Никому? – спросил Вячеслав Олегович.

– Пап, ну я что, совсем, что ли? – Володя фыркнул и покрутил пальцем у виска.

С Дусей расстались по-доброму. Вячеслав Олегович дал ей денег, Оксана Васильевна подарила большую пуховую шаль. Вике сказали, что няня уехала в деревню, навестить родных, и обещала вернуться, но только если Вика будет вести себя хорошо и слушаться маму. Чем лучше она будет себя вести, тем скорее вернется няня.

Дусино место заняла Клавдия, дисциплинированная, культурная, по образованию повар. Вика ждала Дусю и старалась вести себя хорошо.

В первом классе она не вылезала из ангин. Удалили гланды – ангины сменились бронхитами и обострился хронический гайморит. В третьем она начала заикаться. В пятом стала сильно сутулиться и полнеть. В седьмом ее лицо покрылось подростковыми прыщами. Оксана Васильевна очень переживала, боролась за здоровье дочери, не жалея времени и денег. Ларингологи, логопеды, невропатологи, психологи, эндокринологи, дерматологи, гипнотизеры, гомеопаты, экстрасенсы... Вика глотала таблетки, мазала лицо какими-то мазями, строго по расписанию рассасывала сахарные шарики. Ничего не помогало.

Оксана Васильевна все делала от чистого сердца, от большой материнской любви, всегда хотела как лучше, точно знала, как лучше, и находила железные аргументы, доказывая свою правоту, недаром работала в комсомоле, быстро шла на повышение, выступала с лекциями о моральном облике советского человека.

С Володей у них было полное взаимопонимание. Красивый умный мальчик, каждый год грамоты за примерное поведение и успехи в учебе, председатель совета отряда, потом дружины, потом комсорг. Вот он, главный аргумент. Живой аргумент. Впрочем, иногда Вячеславу Олеговичу казалось, что все-таки чуть-чуть железный.

Месяц назад Володе исполнилось двадцать восемь. Он закончил МГИМО, в аспирантуре женился на внучке сотрудника Международного отдела ЦК, работал в советском представительстве в ООН, жил с женой и двухлетним сыном Олежкой в Нью-Йорке.

Оксана Васильевна считала, что Вика не ценит ее героических усилий, заикается, толстеет и сутулится нарочно, ей назло. Вика тяжело переживала упреки, заикалась еще больше, не могла произнести ни слова, лишь отдельные слоги, так что, когда она говорила отцу: «А я с ней не ссорилась», была по-своему права.

В девятом классе, после очередного скандала, Вика ушла к бабушке Нате, матери Вячеслава Олеговича, в коммуналку в Горловом тупике, и домой больше не вернулась.

Бабушка Ната в свои семьдесят пять осталась вполне бодрой и самостоятельной, правда, окончательно оглохла. Проблемы со слухом у нее начались сразу после войны, из-за перенесенного менингита. Довольно долго спасал слуховой аппарат, но теперь она совсем ничего не слышала, и то, что мать одна, а рядом чужие люди, соседи, все больше беспокоило Вячеслава Олеговича. Он уже давно ломал голову над этой проблемой. Характер у старухи был непростой, не получалось даже на дачу ее привезти, они с Оксаной Васильевной больше суток под одной крышей находиться не могли, а вот Вика с бабушкой Натой ладила. Когда они стали жить вместе, Галанов испытал большое облегчение. Во-первых, мать не одна. Во-вторых, девочке полезно почувствовать ответственность за того, кто слабее. Всю жизнь ее баловали, заботились о ней, теперь пусть она позаботится о старенькой бабушке. В-третьих, дома стало тихо. Оксана Васильевна не сомневалась: дочь выдержит не больше месяца, сама ведь ничего не умеет, привыкла, что все за нее делают Клавдия и мама. Вернется как миленькая. Надо просто подождать.

И она ждала. Первая бежала к телефону, замирала, услышав гул лифта, шаги на лестничной площадке. Вячеслав Олегович замечал на лице жены такое же тревожно-обиженное выражение, какое бывало у маленькой Вики, когда она ждала возвращения няни Дуси.

Вика вначале звонила только отцу на работу, потом иногда домой и говорила с матерью по телефону, наконец стала забегать, но о возвращении речи не было.

Жизнь с бабушкой волшебным образом преобразила Вику. Она больше не заикалась, похудела, выпрямила спину, избавилась от прыщей. Если бы Вячеслав Олегович верил в магию, он бы решил, что с Вики сняли заклятие, лягушка превратилась в царевну, гадкий утенок – в лебедя. На самом деле, конечно, никаких заклятий и чудес, просто кончился переходный возраст.

Галанову удалось заполучить для них вторую комнату, выселив одинокого соседа, алкоголика-хулигана, за сто первый километр. Старый дом стоял в плане на снос, очень скоро бабушка с внучкой переедут в хорошую двухкомнатную квартиру, причем не на окраине, а почти в центре, об этом Вячеслав Олегович позаботился заранее, связи и возможности у них с Оксаной Васильевной имелись.

После десятого класса Вика поступила в Иняз. Пришлось, конечно, похлопотать, но если бы она по-прежнему заикалась, не сумела бы сдать устные экзамены, не помогли бы никакие хлопоты и ценные подарки.

На первом курсе она похудела еще килограмм на пять, отрастила и осветлила волосы. Такая прическа удивительно шла ей. Теперь это была совсем другая девочка: очаровательная, легкая, яркая, уверенная в себе. Вячеслав Олегович не мог нарадоваться, налюбоваться дочерью, Оксана Васильевна восприняла чудесные перемены как результат своей многолетней борьбы, очевидное доказательство собственной правоты и при всякой возможности продолжала благое дело – воспитание дочери. «Зачем ты куришь? Этот цвет тебе совсем не идет. Ты слишком уж стала худая, питаться надо правильно, регулярно». Вика снисходительно позволяла себя воспитывать, но иногда вспыхивала.

Месяц назад Оксана Васильевна выдала очередную порцию замечаний насчет ее внешнего вида. Нельзя так густо красить ресницы. Вульгарно! Волосы надо подкалывать, они падают на лицо и могут занести инфекцию в глаза. Негигиенично! Под пуловер следует надевать блузку, а под блузку – бюстгальтер. Носить тонкий пуловер на голое тело – неприлично!

Вика добродушно отмахивалась, отшучивалась, но Оксана Васильевна разошлась, и в итоге дочь крикнула: «Все! Надоело! Ноги моей больше здесь не будет!»

Вячеслав Олегович догнал ее, проводил до станции, уговаривал не сердиться на мать, потом, вернувшись, уговаривал Оксану Васильевну быть терпимей и тактичней. Не помогло. Или помогло? Вика все-таки приехала.

Сейчас, при гостях, обе делали вид, будто все в порядке, изредка обменивались короткими спокойными репликами, но друг на друга не смотрели.

Глава восьмая

Большая чистка открывала большие возможности для мгновенных взлетов и падений. Все суетились, расталкивали друг друга, карабкались вверх по головам товарищей, боялись упустить свой шанс, а бояться следовало совсем другого. Шансов может быть много. Падение всегда одно и всегда окончательное. Чем выше взлетел, тем больней грохнешься.

Федьке Уральцу довелось поработать в 7-м управлении, в отделении арестов и обысков. Он любил рассказывать, как проводили обыск и описывали имущество в квартире Абакумова.

Бывший министр занимал целый этаж в доме № 11 по Колпачному переулку. Федька в жизни не видел таких хором, хотя сам вырос отнюдь не в коммуналке. Чего там только не было: мебельные гарнитуры, сервизы, столовое серебро, гигантские отрезы тканей, чемоданы мужских подтяжек.

Уралец выразительно таращил глаза: «Представляешь, чулки женские шелковые, шестьдесят четыре пары, тринадцать радиоприемников и радиол, часов золотых тридцать семь штук, пятьдесят фотоаппаратов, ваз хрустальных и фарфоровых семьдесят восемь штук, ювелирки всякой три сундука. Открыли – чуть не ослепли от сверкания».

Федька не умел да и не пытался скрыть свои эмоции. На его лице читалось сразу все: изумление, уважение и зависть к богатству, мстительная радость, что богатство отняли.

Молодой капитан слушал, усмехался про себя: «Чемодан подтяжек, тряпки-побрякушки... Вот тебе и Глыба Абакумов. Рюмин такая же дрянь, только росточком не вышел и абакумовских аппетитов нагулять не успел».

Стремительный взлет Рюмина напоминал лесной пожар, вспыхнувший от окурка. Пламя до небес, треску много, искры летят, а в итоге – ничего, кроме обугленных головешек, серого пепла и вонючей гари. Рюминская схема заговора выглядела так: врачи-евреи спелись с заокеанскими толстосумами насчет реставрации капитализма в СССР и своим вредительским лечением умертвляли видных деятелей партии и правительства. Их покрывали чекисты-евреи с целью захватить власть, убить товарища Сталина и установить диктатуру Абакумова.

Сразу полезли нестыковки. Большие половины врачей-вредителей оказались русскими. Среди чекистов евреев было больше, но Абакумов русский, и с этим ничего не поделаешь. Молодой капитан придумал пару удачных формулировок: «евреи прямые и косвенные» и «евреи по крови и по духу». На одном из совещаний подкинул их Рюмину, тот ухватился, стал использовать как свои.

К началу 1952-го чекистов-евреев в органах не осталось. Врачей, «прямых и косвенных», брали одного за другим. Руководство Рюмина сводилось к беготне по кабинетам и матерным истерикам. В Управлении шло соревнование: кто выбьет больше признательных показаний. Количество арестованных и признавшихся росло. Распухали, тяжелели папки с протоколами. Врачи признавались, что неправильно лечили, бывшие чекисты – что покрывали вредительство врачей. Но где центр заговора? Кто его возглавляет? Каналы финансирования и связи с американскими хозяевами, конкретные задания от них, способы вербовки? Главные вопросы оставались без ответа.

Молодой капитан устал от тупости коллег. Неужели трудно усвоить, что дело не в количестве, а в качестве, не во вредительстве, а в шпионаже? Надо выводить этих тварей на шпионаж, на конкретику.

У него в голове возникло сразу несколько гениальных идей, как сдвинуть следствие с мертвой точки, но сначала он хотел разобраться со своими личными делами. Мысли о Шуре мешали сосредоточиться.

Он стал чаще навещать мать, иногда сталкивался с Шурой в коридоре. Она вежливо здоровалась и убегала. Он думал о ней днем и ночью, его знобило и бросало в жар, из-за нее он был постоянно будто под хмельком, хотя в отличие от своих сослуживцев не злоупотреблял спиртным. Подкатывать к ней на глазах у всей коммуналки не хотелось, он решил подстеречь ее возле издательства. На оперативном языке это называлось «секретное снятие».

Ждать пришлось долго. Выходили сотрудники, гасли окна. Она появилась в начале одиннадцатого. Заскрипела дверь, он увидел полоску света, услышал Шуриный голос:

– Спокойной ночи, дядя Коля!

В ответ стариковское ворчание:

– Нет от вас никакого покоя! Все, что ли, ушли?

– Все, я последняя.

– Да ты каждый вечер последняя. Нехорошо девке в такую поздноту одной шастать.

– Работаю на полторы ставки, вот и получается поздно, а тут еще халтурка подвернулась.

– Ты, давай-ка, хватит болтать! Бежи, девонька, бежи быстрее домой!

Дверь хлопнула, стало темно. Он бесшумно пошел за ней. На перекрестке догнал, схватил за локоть. Она вскрикнула, попыталась вырваться, забормотала: «Отпустите! Что вам нужно?» Она, конечно, не узнала его в илье до бровей, в сером плаще. Он сильнее стиснул ее локоть, прошипел: «Молчи!» – и потащил по переулкам и подворотням.

Мимо мелькали черные, косые от старости домишки, серые коробки двухэтажных барачков. Редкие прохожие смотрели под ноги, чтобы не оступиться на разбитом тротуаре, не илещнуться в грязь. Она больше не вырывалась, молча, покорно семенила рядом. Несколько раз споткнулась и стала инстинктивно опираться на его руку. Ее беспомощность сильно возбуждала, хотелось расстегнуть на ней жакетку, задрать подол, вжать в стену в ближайшей подворотне. Но он лишь сглотнул и облизнулся. Зачем спешить? Все равно никуда не денется. Вывел ее на площадь, под фонарем остановился, снял илью.

– Владилен Захарович, вы... – произнесла она чуть слышно.

К нему редко обращались по имени-отчеству, в основном товарищ Любый, товарищ капитан, реже Влад. Имя-отчество ему не нравилось. Идеологически чистое, сугубо советское «Владилен» звучало как-то подозрительно буржуазно, с французским оттенком, и плохо сочеталось с простецким «Захарович». Он родился 21 января 1925-го, ровно через год после смерти Ленина, день в день. Мать верила, что знаменательная дата, помноженная на священное сочетание букв, принесет сыну счастье.

– Просто Влад. – Он обнял Шуру за талию. – Ну, здорово я тебя разыграл?

– Да, смешно, – она шмыгнула носом, – напугали до смерти.

Они пошли к метро, уже спокойно, под руку.

– Вот, – сказал он, – решил взять над тобой шефство.

– Зачем?

– Нехорошо девке в такую поздноту одной шастать, – прошамкал он, передразнивая старика сторожа.

– Спасибо, конечно, только я вас совсем не знаю...

– Зато я тебя знаю как облупленную.

* * *

– Надежда, ты чего там бормочешь?

Павлик Романов подошел неслышно. Она вздрогнула, чуть не выронила пипетку Пастера, сердито огрызнулась:

– Отстань!

– Пошли покурим. – Он вытащил из кармана халата и подкинул на ладони пачку длинного «Кента».

– Какие мы богатые, – Надя присвистнула, – «Березку» ограбил?

– Ага, – Павлик самодовольно оскалился, – и всю охрану перебил.

Когда они выходили из лаборатории, зазвонил телефон. Он висел на стене у двери.

– Эй, трубочку возьмите! – крикнул из дальнего угла Олег Васильевич.

Надя и Павлик замерли, растерянно глядя друг на друга.

– Ну! – сказала Надя.

Павлик сделал страшные глаза и помотал головой. Телефон надрывался. Все повернулись в их сторону.

– В чем дело? – сердито спросила Любовь Ивановна. – Вы же рядом стоите, без перчаток, без масок, трудно, что ли, на звонок ответить?

Надя еще раз взглянула на Павлика. Он молитвенно сложил руки. Она вздохнула и взяла трубку.

– Седьмая лаборатория.

В ответ зашуршала тишина.

– Алло, говорите. – Надя сморщилась, заметив, что трубка в ее руке слегка задрожала.

Она уже хотела дать отбой, но услышала высокий женский голос:

– Добрый день. Любовь Ивановна?

– Нет. Надежда Семеновна.

– А, Надя, здравствуйте, это Галя Романова, я вообще-то ваш голос узнала, просто не ожидала услышать. Думала, вы в командировке.

Павлик стоял совсем близко, выразительно гримасничал, мотал головой и прижимал палец к губам.

– Нет, я в Москве, – глухо произнесла Надя и кашлянула.

– А Павлик сказал, вы тоже летите. Ой, знаете, я вот хотела поговорить с Олегом Васильевичем, почему Павлика так часто отправляют в командировки? Я переживаю, прямо ночами не сплю, и сын почти не видит его. Олег Васильевич на месте? Вы не могли бы ему трубочку передать?

– Его нет, извините. – Надя покосилась на Павлика.

– А когда удобно будет позвонить?

– Я не знаю. Еще раз извините, Галя, сочувствую, но, к сожалению, ничем не могу помочь. Всего доброго.

Она едва успела повесить трубку, Павлик поволок ее за руку в коридор.

– Пусти, – прошипела она и попыталась вырваться, – не пойду с тобой курить, подавись своим «Кентом»!

– Надежда, перестань, что за детский сад?

– С какой стати я должна врать, покрывать твоё блядство?

– Фу, как грубо! Раньше покрывала.

– А теперь не буду!

– Почему?

– По кочану!

– А почему трубку сразу не взяла, можешь объяснить? Я – понятно. А ты?

Надя хотела рывкнуть в ответ что-нибудь злое и обидное, но вдруг поняла, что Павлик – единственный человек в институте, которому она может рассказать о звонках с молчанием, и прикусила язык.

Летом курить ходили на крышу через чердак. Зимой курилкой служила маленькая подсобка, холодная, вонючая, всегда забитая народом и окурками. Но у Павлика имелась тайная

привилегия. Он очаровал парторга, цветущую моложавую даму, привозил ей приятные мелочи из каждой командировки и получил ключ от Ленинской комнаты.

Из всех помещений института Ленинская комната была самой уютной, тихой и необитаемой. Туда заглядывали только уборщица да парторг – полить свои цветочки, покормить рыбок в аквариуме, поболтать по телефону, полистать журналы «Здоровье», «Работница», «Ригас мода», которые хранились в тумбе под большим гипсовым бюстом Ильича.

Павлик открыл дверь, пропустил Надю вперед, тут же запер изнутри, отдал пионерский салют бюсту, преклонил колено и приложил ладонь к сердцу возле переходящего Красного знамени, только потом распечатал пачку.

– Ты, когда один сюда заходишь, тоже цирк устраиваешь? – спросила Надя.

– Обязательно. Это же святилище, нельзя без приветственного ритуала, иначе духи прогневаются. – Павлик плюхнулся в потертое кожаное кресло и выпустил дым. – Ну, рассказывай.

– Что?

– Кто тебе звонит и молчит?

– Понятия не имею. – Надя пожала плечами. – Почти каждый вечер, между девятью и двенадцатью. Если я беру, молчат сразу. Если папа – просят меня, потом молчат.

– Голос какой?

– Разные голоса, в том-то и дело. И просят по-разному, то Надю, то Надежду Семеновну. Не угадаешь.

Павлик нахмурился, стряхнул пепел в банку с водой.

– К соседям пробовали?

– То есть?

– Трубку не кладешь, идешь к соседям и с их телефона звонишь на станцию, просишь определить номер.

– Неудобно, соседи рано ложатся, да и что толку? Ну, назовут номер. Я все равно не буду набирать, выяснять.

Павлик критически оглядел Надю и многозначительно изрек:

– А если это любовь?

– Тогда бы серенады пели. Боюсь, наоборот, ненависть. Ладно, хватит. Лучше скажи, куда ты улетел на этот раз?

– М-м, далеко, Надежда, под самые небеса. Рыжая, глазищи зеленые, ноги от ушей, тридцать лет, не замужем. – Он зажмурился и промурлыкал басом: – Такой чудесный, нежный Рыжик.

– Я тебя про командировку спрашиваю.

– А-а, ты об этом? – разочарованно протянул Павлик. – Вроде в Таджикистан. Погоди, нет, или в Узбекистан? Кошмар! Забыл!

– Ты записывай.

– В следующий раз обязательно. Сейчас уже без разницы. В понедельник-вторник все равно летим в Нуберро.

– Тебе же надо собраться, ты что, даже не заедешь домой?

– Зачем? У меня все, что нужно, тут, в раздевалке, в шкафчике, рюкзак всегда наготове.

Павликову жену Галю, простоватую, рано постаревшую хлопотунью, Надя видела раз в году, на днях рождения Павлика. Двухкомнатная квартира в панельке на Красносельской сверкала чистотой. Чешский хрусталь в серванте, подписные собрания сочинений на книжных полках. Для гостей набор одинаковых гигантских войлочных тапок, как в музее. На столе белоснежная крахмальная скатерть, сельдь «под шубой», утка с яблоками, домашние соленья-варенья, наливки, сложные пироги из дрожжевого теста. Галя не снимала фартука, не закрывала рта, рассказывала, что где достала, что как готовила. Сын Миша, толстенький, хму-

рый, обычно сидел под столом. Галя уговаривала его вылезти, прочитать стихотворение, жаловалась, что он плохо кушает и часто простужается.

Дома Павлик выглядел примерным семьянином, восхищался кулинарными подвигами жены, помогал ей менять посуду, ровно в десять уводил Мишу спать и потом сидел с ним, читал вслух детскую книжку.

«Вот скоро опять пригласит на день рождения, ни за что не пойду», – подумала Надя, слушая, как Павлик расписывает достоинства своей рыжей пассии.

– Главное – умная. Товаровед! – Он поднял палец и сделал важное лицо. – Не в каком-нибудь банальном гастрономе, а в книжном на улице Горького. Пастернака наизусть шпарит, знает разницу не только между Гоголем и Гегелем, но и между Кингисеппом и Каннегисером.

– А кто такие Кингисепп и Каннегисер? – рассеянно спросила Надя.

Павлик вытаращил глаза.

– Надежда, ты что? Правда не знаешь или придуливаешься?

– Правда не знаю.

– Не ожидал от тебя, – он высокомерно усмехнулся. – Кингисепп – эстонский революционер. Каннегисер – юный поэт, застрелил чекиста Урицкого в восемнадцатом году.

– Слушай, может, ты просветишь свою Галю? Она поумнеет, и рыжие товароведы тебе больше не понадобятся.

– Издеваешься? Я же тебе много раз объяснял, Галя даже постельное белье в прачечную не сдает, сама кипятит, крахмалит и гладит. Ей не до революционеров и поэтов.

– О разводе никогда не думал? Все-таки честнее.

– Как ты вообще такое можешь говорить? – Павлик возмущенно запыхтел. – Семья для меня святое!

– Если святое, тогда зачем бегаешь по всей Москве со спущенными штанами? Врать приходится не только жене, но и этим твоим товароведом. Не надоело?

– А я никому не вру. Я жену люблю, и Рыжика люблю.

– До Рыжика была блондинка, а еще раньше брюнетка.

– Потому, что всякая любовь от Бога. Вот погоди-ка.

Павлик вылез из кресла, подошел к книжному шкафу, привстал на цыпочки и принялся разглядывать корешки книг, бормоча:

– Ну где же? Где?

– Библию ищешь? – спросила Надя. – Слева, на верхней полке, «Краткий словарь атеиста». Подойдет?

– Отстань. А, вот, нашел!

Он извлек том Энгельса вместе с облаком пыли. Дунул, чихнул, открыл на заложенной странице и стал читать вслух:

– «Если строгая моногамия является вершиной всяческой добродетели, то пальма первенства по праву принадлежит ленточной глисте, которая в каждом из своих пятидесяти-двухсот членов тела имеет полный женский и мужской половой аппарат и всю свою жизнь совокупляется сама с собой».

– Класс! – Надя легонько хлопнула в ладоши. – Только при чем здесь Бог – не понимаю.

– При том. – Павлик запихнул Энгельса на место, вытер ладони о халат, вернулся в кресло. – При том, товарищ Надежда, что Господь Бог создал мужчину полигамным. А Энгельс эту мужскую полигамию научно обосновал и доказал.

– Ну, ты и трепло, Романов! – Надя покачала головой. – Вляпаться не боишься? Я ведь случайно взяла трубку. А если бы Любовь Ивановна? Или Оля? Да в конце концов, Москва – город маленький, кто-то из знакомых увидит тебя на улице, когда ты в командировке.

– Такого быть не может. Я везучий.

– Тьфу-тьфу-тьфу. – Надя постучала по столешнице.

На самом деле существовало два абсолютно разных, диаметрально противоположных Павлика: Павлик в Москве и Павлик «в поле», в очагах эпидемий. Везучими были оба. На этом их сходство заканчивалось. Даже выглядели они по-разному.

Павлик Московский – маленький, рыхлый, с брюшком, на котором расстегивались пуговицы рубашки, бессовестный врун, неумный бабник, бездельник, хохмач и пройдоха. Круглые птичьи глазки, всегда слегка мутные, широкий вздернутый нос, непропорционально большая плешивая голова. Постоянная плотоядная улыбочка уродовала и без того не слишком привлекательную физиономию. Надя не понимала, почему он так нравится женщинам.

Если в буфете выбрасывали что-нибудь дефицитное, Павлик умудрялся проскользнуть без очереди, при этом всех очаровать и ни с кем не поругаться. Он мог целый день слоняться по лаборатории, дразнить Любовь Ивановну хвостиком свежей завиральной сплетни, вгонять в краску Олю своими шуточками, отвлекать от работы трудягу Гнуса разговорами о рыбалке и самиздате, приставать к Наде с глупой болтовней в самый неподходящий момент. В итоге время пролетало, важная мысль убегала, и потом оставалось противное чувство, которое Надя называла «похмелье пустого дня». Но никто не сердился, даже Любовь Ивановна говорила о нем с нежностью: «Вот ведь обаятельный, подлец!»

В поле Павлик преображался до неузнаваемости. Улыбочка испарялась, лицо разглаживалось, черты становились четкими, жесткими, взгляд прояснялся, брюшко подтягивалось. Собранный, толковый, он легко переносил любые трудности, отлично соображал, брал на себя ответственность и принимал верные решения, когда другие терялись и отчаивались. Он находил общий язык с африканскими дикарями, с вождями племен, с партийным руководством Среднеазиатских республик. Может, это и был настоящий Павлик, просто в Москве впадал в спячку? Может, его бесконечные пассии чували в нем эту спящую силу и мужскую надежность?

Отправляясь в очередной очаг, на чуму, сибирскую язву, холеру, Надя знала: если Павлик рядом, все вернется домой живыми и здоровыми. Она до сих пор не могла забыть первую свою чуму. Туркмения, август, днем +45. Они брели по раскаленной степи, тащили на себе ящики с инструментами, канистры с лизолом и хлорной известью. Противочумные комбинезоны, сверху два халата, клеенчатые фартуки до щиколоток. Лица закрыты респираторами – несколько слоев марли и ваты, очки-консервы. На руках по две пары резиновых перчаток. Пот тек ручьями, хлопал внутри резиновых сапог. Со стороны они напоминали космонавтов, высадившихся на Луне.

В тот раз Надя единственная из команды была новичком. Павлик уже имел кое-какой опыт. Он смягчил ее первый чумной шок, не дал зайти в юрту, где лежали на кошмах вповалку трупы мужчин, женщин и детей с почерневшими лицами. Она осталась стоять метрах в десяти, но даже на таком расстоянии, сквозь респиратор, ударила в нос адская вонь.

Нет, не на Луну они высадились, а спустились на дно ада. Надя думала, что ее Вергилием станет Олег Васильевич. Он выезжал на очаги еще при Сталине, опыт имел богатый и разнообразный. В Москве он храбро, жадно глотал самиздат, обсуждал прочитанное только шепотом, конечно, и со своими. В очагах нервничал, срывался, боялся КГБ и партийного начальства больше, чем чумы и холеры, трясся от ужаса и отвращения, когда местные органы искали иностранных шпионов-диверсантов, устроивших эпидемию, вместо того, чтобы помогать врачам бороться с ней. Точно так же вели себя африканские вожди, только их «шпионами-диверсантами» были колдуны и злые дүхи.

Надя понимала страхи Олега Васильевича, он принадлежал к запуганному поколению. Но ей хватало собственных страхов, поэтому на очагах она старалась держаться от Гнуса подальше.

Летом семидесятого, когда началась пандемия холеры, они вылетели в Батуми. Пандемия обещала стать грандиозной. Местное партийное начальство думало лишь о том, как прикрыть свои задницы, и с перепугу сочинило террористическую версию.

Врач санэпидемстанции брала пробы воды, ее «поймали с поличным», обвинили в заражении водоема холерным вибрионом. Местный КГБ тут же откопал каких-то американских родственников врача, о которых она сама не знала. Врача арестовали и стали лепить из нее американскую шпионку-диверсантку. Павлик тогда активно вмешался, пробился к Бургасову, замминистра, главному санитарному врачу СССР, накатал письма в ЦК, в Прокуратуру, в КГБ. В итоге врача освободили.

– Я вовсе не такой благородный и сострадательный, – объяснял потом Павлик, – просто им нельзя давать волю, иначе любой из нас может оказаться на месте этой бедолаги.

В феврале прошлого года в Эфиопии именно Павлик помог Наде добыть образцы тканей дикой ослицы, в которых потом обнаружили те самые бактериофаги.

Команда уже произвела десятки вскрытий, определила очаг и вид эпидемии. Все устали, никто не понимал, зачем Наде понадобилась еще одна ослица, да она и сама в тот момент толком не понимала, просто чуяла: там что-то есть. Павлик отправился с ней без вопросов. Труп был раздут, при вскрытии их обдало зловонной жижей, защитные комбинезоны промокли насквозь.

В советском госпитале в Аддис-Абебе имелась отличная лаборатория с электронным микроскопом. Взглянув на образцы тканей, Надя увидела жалкие останки сибироязвенных палочек и живые бактериофаги. Они оказались довольно крупными для вирусов и потрясающе красивыми. Она не могла налюбоваться ими и наконец поняла, чем привлекла ее дикая ослица. Животное было заражено, однако погибло вовсе не от сибирской язвы, а от ран и потери крови. То есть эта конкретная ослица имела реальные шансы выжить благодаря фагам, если бы на нее не напал хищник. Ох, найти бы еще этого хищника!

Олег Васильевич заглянул в микроскоп, равнодушно пожал плечами: «Ну что ж, любопытно, поковырайся, может, что и нароешь».

Павлик вообще ни малейшего интереса к фагам не проявил, он кокетничал с госпитальными медсестрами и прикидывал, что купить во фри-шопе при пересадке в Анталии.

– Эй, Надежда, ты где? – голос Павлика донесся будто издалека.

– Да так, – Надя улыбнулась, – вспомнила дохлую эфиопскую ослицу. Если бы не ты, я бы фиг нашла свои фаги.

– Фаги-фиги, – вяло передразнил Павлик, помолчал задумчиво и вдруг поднял палец: – О! Точно! Я на этот раз улетел в Киргизию! Значит, сначала я был в Киргизии, а потом прямо оттуда полетел в Нуберро. Ты когда на день рождения придешь, смотри, ничего не перепутай.

* * *

Гости разместились за столом свободно, табуретки не понадобились. Генеральская чета Дерябиных уселась на свои постоянные места, на мягкие гамбсовские стулья, справа от хозяев. Их дочери Вере тоже полагался стул. Глеба Оксана Васильевна отправила на лавку. Галанов обратил внимание, что мальчик обрит наголо и выглядит каким-то несчастным, беззащитным. Шея тонкая, голова круглая, уши торчат.

Федя Уралец предпочел жесткую лавку из-за геморроя, его супруга села рядом. Новому гостю Оксана Васильевна предложила стул, вероятно, из благодарности за палаческую работу. Украдкой разглядывая скуластое лицо, Галанов думал: «Уралец его привез, но так и не объяснил, кто он, откуда взялся. Обычная Федькина манера – темнить, намекать, недоговаривать. На веранде мы вроде познакомились, но я не могу вспомнить его имя. У меня склероз? Или он забыл представиться? Ладно, “Глазурованный” вполне подходит, это я здорово придумал, вон как лоснится весь, будто бархоткой отполирован».

Вика порхала вокруг стола, поболтала с Верой, похихикала с близняшками Сошниковыми, исчезла, появилась, подлетела к Глазурованному, опершись на спинку его стула, что-то

зашептала ему на ухо. Он кивнул, улыбнулся. Вячеслав Олегович удивился: «Они знакомы? Да, точно! А я ведь тоже его знаю, видел где-то. Но где? Когда? Склероз...»

Вика с ним открыто кокетничала, смеялась, запрокидывая голову, глядела на него своими зелеными распахнутыми глазами, помахивала аккуратно подкрашенными ресницами и накручивала на палец длинную светлую прядь. Подозрение, что взрослый, немолодой мужчина может иметь какие-то виды на его дочь, было как внезапный удар кулаком под дых, и тут же, совсем некстати, забрезжил образ первокурсницы Кати с семинара поэзии. Дыхание сбилось, сердце тревожно зачастило: «Нет-нет! Я – совсем другое дело! Никогда не решусь, у меня это лишь мечты, для вдохновения, для жизненного тонуса. А у него?»

– Хватит скакать, сядь, наконец! – прикрикнул он на дочь.

– У-у, папулище грозный! – Она скорчила рожицу и опустилась на лавку рядом с Глебом.

«Ну что за пошлые глупости лезут в голову? – одернул себя Галанов. – Вика со всеми кокетничает, у нее стиль такой, избавилась от подростковых комплексов, дивно похорошела, теперь купается в собственном обаянии, вот и Глебу глазки строит, а он вообще птенец желторотый».

Пока закусывали домашними соленьями, бужениной и севрюгой, выпивали, произносили тосты, Галанов пытался вспомнить, где же все-таки видел Глазурованного?

«Допустим, это было давно, он тогда еще не полысел, не залоснился. Волосы сильно меняют внешность. Мог носить усы, а теперь сбрил».

Вячеслав Олегович механически участвовал в застольном трепе, чокался после тостов. Присутствие Глазурованного напрягало, особенно неприятно было смотреть на его руки и встречаться с ним взглядом. Дело, конечно, не в Викином кокетстве и не в поросятах, которым он вот этими руками резал глотки. Тревожило что-то другое, что-то из далекого прошлого.

Темное воспоминание тяжело копошилось очень глубоко, в мозгу, в душе, и все не удавалось нащупать его, поймать, вытащить наружу.

«Склероз – слабое утешение. На самом деле просто не хочется ловить и вытаскивать. Мало ли в моей жизни случалось встреч и событий, которые лучше забыть?» – подумал Вячеслав Олегович и вздрогнул от взрыва дружного хохота.

Генерал Ваня ржал громко, нагло, по-казарменному. Генеральша посмеивалась тихо, интеллигентно. Оксана Васильевна всхлипывала, качала белокурой головой и промокала глаза салфеткой. Генерал Федя трясся и гыкал по-ослиному. Его жена жеманно прикрывала рот ладошкой. Вика мелодично заливалась, скалила ровные белые зубы. Глазурованный издавал высокие гортанные звуки, похожие на голубиное воркование. В глубине пасти посверкивало золото.

Кто-то рассказал анекдот, Галанов пропустил, спохватился, будто его поймали с поличным, и хотя никто в тот момент на него не смотрел, улыбнулся и выдавил несколько тихих смешков.

Наконец Клавдия и прапорщик торжественно внесли блюда с поросятами, гости зааплодировали, перестали смеяться и замерли в ожидании.

Знаменитых галановских поросят, жаренных на вертеле, обычно разделявала хозяйка. Это был апогей застолья. Гости внимательно следили за действием и сглатывали слюну. Оксана Васильевна превращалась в жрицу, красиво и точно отсекала куски мяса. Но сегодня почему-то ничего не получалось, она пилила поджаристый пороссячий бок неловко, неуверенно, словно делала это впервые.

– Нож тупой, – пробормотала она и обвела присутствующих растерянным взглядом.

– Позвольте, хозяйшка. – Глазурованный встал, закатал рукава, взял у нее нож, и за несколько минут тушки превратились в аккуратные порции.

– Ну, профессор, ну, молодец, горжусь! – Уралец громко хлопнул в ладоши. – Все умеет, ножом орудует, как заправский повар!

«Профессор, – повторил про себя Галанов, – не похож он на профессора. Это что же, звание, должность или кличка?»

Глазурованный слегка поклонился и сел на место. Оксана Васильевна стала раскладывать куски по тарелкам.

– Нет-нет, мне не надо! – Галанов прикрыл тарелку ладонью.

– Как это – не надо? – изумилась жена. – Ты же ничего не ел с самого утра!

– Первый раз вижу, чтобы Славка от свинины отказывался. – Генерал Ваня хмыкнул.

– Просто не хочу, и все!

– Слав, ты там в своем литературном интернационале, часом, иудаизм не принял? – спросил с ироническим прищуром Потапов-старший.

– Оставьте папу в покое! – вступилась Вика. – Я вот тоже не буду свинину.

– Да ты вообще ничего не ешь, – тихо заметил Глазурованный, отправил в рот большой кусок и задвигал челюстями.

– Ох, и не говорите, – вздохнула Оксана Васильевна, – морит себя голодом, кожа да кости, смотреть больно.

– И не смотри! – огрызнулась Вика.

– Девочка фигуру бережет, – генеральша Дерябина снисходительно улыбнулась, – не переживай, Ксанчик, они сейчас все такие.

– Наш Верун тоже с фокусами, – генерал Ваня потрепал по щеке красавицу дочь, – ни пельмешек, ни котлеток с картошкой, ни булочек сладких мы не кушаем. Набралась там в своем Лондоне глупостей этих.

– Папа! – Вера шлепнула его по руке.

– Дед, не напоминай маме про Лондон, – подал голос Глеб.

Голос ломался, перескакивал с фальцета на баритон. В конце фразы Глеб дал «петуха», покраснел и устался в свою тарелку. Близнецы Сошниковы дружно захихикали. Им было по четырнадцать. Худенькие, курносые, с карими глазищами под белокурыми челками, они носили одинаковые прически, одинаковую одежду. Когда Галанов смотрел на них, ему казалось, что двоится в глазах.

– Да, Ваня, при чем тут Лондон? – проворчала генеральша и смахнула салфеткой листик петрушки с генеральского подбородка.

Вячеслав Олегович знал, что мужа Веры, полковника КГБ Уфимцева Юрия Глебовича, несколько лет назад после крупного шпионского скандала турнули из Лондона. Вражеские голоса тогда сообщили, что правительство Великобритании разоблачило и объявило персонами нон-грата чуть ли не сотню сотрудников советской внешней разведки. Теперь Уфимцев торчал в какой-то черной африканской дыре (кошмарный климат, грязь, нищета, эпидемии, дикость). Вера и Глеб остались в Москве. Генерал и генеральша считали Верин брак удачным, но после Лондона разочаровались в зяте. Вроде не виноват, погорели тогда многие, но ведь это не мешает служебному росту, а он застрял в непрестижной Черножопии, ни тпру, ни ну.

Много лет назад, в начале дачной жизни, Вера очень нравилась Галанову. Юное эфемерное создание сказочной красоты, студентка филфака. У них всегда находились темы для разговоров, но дальше пустой болтовни, игры в бадминтон и походов за грибами так ни разу и не зашло. В тесном дачном мирке роман скрыть невозможно. Дерябин Иван Поликарпович, тогда полковник, ныне генерал-майор, за шашни со своей красавицей дочкой любого женатика в порошок бы стер, да и Оксана Васильевна сжила бы свету.

К сорока с хвостиком Вера осталась красавицей, только красота ее будто застыла, затвердела. За столом сидела фарфоровая кукла с идеально подстриженными волосами цвета белого золота, искусно подведенными глазами цвета мертвой бирюзы. На тарелке перед ней лежала горстка квашеной капусты и надкусанный кусок черного хлеба.

«Интересно, есть у нее кто-нибудь? Четвертый год без мужа», – подумал Вячеслав Олегович.

Глава девятая

На очередном совещании министр Игнатьев теребил незажженную папиросу и бубнил по бумажке, глухим монотонным голосом:

– Ход следствия по делам, находящимся в нашем производстве, оценивается правительством как явно неудовлетворительный. Пора, товарищи, снять белые перчатки и, с соблюдением осторожности, прибегать к избиениям арестованных.

Капитан Любый с любопытством наблюдал, как трясутся у министра руки и дергается правое веко. Накануне Федька Уралец поведал свистящим шепотом, что Сам устроил Игнатьеву разнос, мол, ты не чекист, ты буржуа, бонза, разленился, разжирел, бегомот. «Чистеньким хочешь остаться? Чекистская работа не барская, а мужицкая. Не добьешься признаний – укоротим тебя на голову!»

Министр больше напоминал верблюда, чем бегомота. Худощавый, сгорбленный. Серые толстые губы вяло шевелились, будто жевали сухую пустынную колючку. Слово «избиения», очевидно, встало у него поперек горла, он запнулся, откашлялся, пошелестел страницами и механическим голосом продолжил:

– Согласно указаниям правительства необходимо усилить допросы, особенно о связях с иностранными разведками, с этой целью подобраны из числа сотрудников тюрьмы работники, могущие выполнять специальные задания.

Игнатьев пришел в органы из партийного аппарата, типичный бюрократ, хитрый, трусливый, тусклый. Отсиживался в своем кабинете за двойными дверьми, перебирал бумажки, читал протоколы и составлял по ним докладные. Первый за многие годы руководитель органов, который никого пальцем не тронул, ни разу на допрос не заглянул. Ягода, Ежов, Берия, Абакумов кровью не брезговали, обрабатывали клиентов самолично, хотя тогда, как и сейчас, по закону бить арестованных запрещалось.

«Забавно, – усмехнулся про себя Влад, – особенно вот это: «с соблюдением осторожности». Законы не меняются, потому что ничего не значат. Люди тоже ничего не значат, но меняются кардинально. Те, прежние, плевали на законы, выполняли волю Самого, беспрекословно подчинялись приказам. Эти, нынешние, все чаще оглядываются на законы, пытаются опереться на них, а от выполнения приказов увиливают. Не понимают, что происходит. Сам приказывает бить, но им боязно, того гляди перестараться, и клиент отбросит копыта, как Этингер. Бить или не бить – вот в чем вопрос. Тоже мне, принцы датские!»

– Сегодня наша главная задача, – тоскливо продолжал Игнатьев, – выбить признания, собрать весомые улики и неопровержимые доказательства связи между медицинским терроризмом и еврейской нацией. Без этого невозможно построить достаточно крупный солидный заговор.

Любый погрузился в собственные размышления, почти не слушал министра, однако последняя фраза заставила его насторожиться: «Что он несет? Что значит – построить?»

В голове застучал текст докладной на имя Самого: «Считаю долгом офицера и гражданина довести до Вашего сведения, что министр Игнатьев, выступая на совещании спецгруппы следователей Следственного управления по особо важным делам, заявил: нашей задачей является построить заговор. Прошу заметить: не раскрыть и разоблачить, а именно построить, то есть сочинить, сфабриковать, из чего напрашивается естественный вывод, что министр отрицает сам факт существования сионистского заговора, глобального и всеохватного, направленного против нашего советского государства, причем делает это публично, открыто, хотя и в завуалированной форме».

Игнатьев поднял глаза, внимательно оглядел присутствующих и произнес довольно бодро, уже не по бумажке:

– Работаем без души, товарищи, без огонька, неуклюже используем противоречия в показаниях заключенных, чтобы добиться их признаний, не умеем так задавать вопросы, чтобы они не могли отвертеться. А ведь факт существования глобального заговора западных спецслужб и сионистского подполья, стремящихся посредством врачебного террора вывести из строя руководителей СССР, является очевидным и неоспоримым.

Любый украдкой оглядел кабинет. Застывшие лица ничего, кроме почтительного внимания, не выражали. Он задвигал желваками, быстренько прожевал и проглотил свою воображаемую докладную. Нельзя делать поспешных выводов, так и вляпаться недолго. Он понял, как сильно устал, как надоели ему эти ничтожества. Их примитивные мозги не вмещают масштабов происходящего. Они не способны логически мыслить, анализировать, обобщать.

Он поерзал на стуле, уселся поудобней, придал лицу такое же почтительно-внимательное выражение, как у всех, и стал думать о Шуре, вспоминать прошлое свидание, предвкушать следующее.

Он не торопил события, ухаживал, как положено. Гулял с ней по Парку культуры, водил в кино, в цирк, в Театр оперетты, кормил обедами в «Метрополе» и в «Праге». Она приходила на свидания в одном и том же темно-синем платье, скромном, но вполне приличном, правда, чулки и ботинки такие, что перед походом в театр он принес ей две пары шелковых чулок и черные замшевые туфли на каблучках. Она за все благодарила по десять раз, глядела на него распахнутыми влажными глазами, которые казались неправдоподобно синими то ли из-за цвета платья, то ли от восторга.

В парке она весело повизгивала на каруселях и упоенно поедала мороженое. В цирке до слез хохотала над клоунами, ахала и сжимала его руку, когда дрессировщица входила в клетку с тиграми. В ресторанах жмурилась, медленно смакуя каждый кусочек шашлыка и котлеты по-киевски.

Стояли последние дни золотой осени, в небе ни облачка, на солнце тепло почти по-летнему. Прохладным и ясным воскресным утром он пригласил ее в Серебряный Бор. Там у пристани их ждал небольшой спецкатерок со спецбуфетом и уютной, обитой малиновым плюшем, каютой. Кроме них, пассажиров не было. Они завтракали бутербродами с севрюгой и черной икрой. Буфетчик завел патефон, под первые аккорды танго «Брызги шампанского» Шура вскочила и закружилась по палубе. Он молча, исподлобья, наблюдал за ней, спокойно допил свой кофе, докурил папиросу, медленно, как бы нехотя, поднялся. Она, не останавливаясь, улыбнулась ему. Он поймал ее руку, рывком притянул ее к себе, крепко обнял за талию и повел в каюту.

* * *

В Афинах, как только подвезли трап, в салон зашли врач и медсестра. Летчик еще в воздухе через греческого диспетчера связался с советским посольством. Кручине это не понравилось, он накинулся на стюардессу:

– Зачем? Я не просил!

Та испуганным шепотом сослалась на военного атташе, мол, его инициатива, его ответственность, и удрала.

– Сволочь! – тихо выругался генерал.

Кручина помешался на секретности, любую, даже самую безобидную информацию о своей персоне считал государственной тайной. У него в голове мгновенно сложилась схема очередной подлой интриги военных.

Отношения между ГРУ и ПГУ были традиционно скверными. Военный атташе воспользовался случаем, под видом заботы и дружеского участия решил выставить начальника ПГУ слабаком. Разумеется, для посторонних, для афинских диспетчеров, настоящее имя и долж-

ность занемогшего транзитного пассажира останутся тайной, а вот посольские наверняка что-то разнохают, и поползет слухок. Кручина дорожил не только здоровьем, но и репутацией идеально здорового, крепкого, выносливого человека.

Юра взглянул на часы. Ему очень хотелось смыться, он и так стал невольным свидетелем слабости начальника, а тут еще врач наверняка попросит Кручину раздеться и наболтает много чего секретного. Но главное, таяло драгоценное время, отпущенное на покупки во фри-шопе.

– Товарищ генерал, я могу идти?

– Останься!

Юра послушно опустился в кресло напротив кушетки и подумал:

«Как же я заявлюсь домой с пустыми руками? Сразу после Нового года, без подарков! Через пару дней отправят назад, и гуд бай до апреля».

Врач, молодящийся хлыщ с прикрытой жидкими крашеными прядками лысиной, произнес со сладкой улыбкой:

– Ну, голубчик, давайте знакомиться. Меня зовут Геннадий Леонидович. А вас?

– Владимир Александрович. – Кручина нарочно вывернул наизнанку свое имя-отчество: слабенькая, а все-таки конспирация, и нехотя пожал протянутую кисть.

– На что жалуемся?

– Ни на что.

«Злится, – заметил про себя Юра, – врачей терпеть не может, тем более таких, наглоснисходительных».

Красотка-медсестра в коротком белом халатике, в облаке дорогого парфюма, блестя перламутровыми ногтями, закрепила на генеральской руке манжет тонометра. Юра увидел, как стрелка проползла по кругу. Давление и пульс оказались повышенными, но не слишком.

Врач попросил генерала расстегнуть рубашку, приложил фонендоскоп к его белой безволосой груди, долго, сосредоточенно слушал, хмурился, наконец изрек:

– Нужно срочно сделать кардиограмму.

– У меня здоровое сердце. – Кручина побагровел.

– Ну-ну, голубчик, зачем так нервничать? – Врач панибратски похлопал его по плечу. – В вашем возрасте...

Юру коробил приторный тон, манерное «голубчик». И между прочим, этот наглый хлыщ с «Лонджином» на запястье выглядел если не старше Кручины, то его ровесником, так что насчет возраста ему точно следовало заткнуться.

– Свободны! – прошипел генерал и принялся застегивать рубашку. – Юра, проводи их.

– Александр Владимирович, давайте успокоимся, – врач тронул его руку, – смотрите, какой у вас тремор.

– Владимир Александрович, – поправил Юра и добавил нарочито вежливо: – Будьте любезны, к выходу.

В узком проходе сестра задела Юру твердой грудью. Пока шли по первому салону, врач все оглядывался:

– Я не понял, что не так? Я выполняю свои обязанности, состояние тяжелое, я не отвечаю за последствия!

У выхода на трап он резко остановился, развернулся всем корпусом, уставился на Юру:

– А он вообще кто?

– Всего доброго.

– Нет, погодите, – врач схватил Юру за локоть, – мне же ничего не объяснили, только сказали: наши военные специалисты, особо секретная миссия...

Уфимцев молча отцепил его пальцы и посмотрел в глаза. Врач охнул и попятился к трапу.

На покупки остался час. Промчавшись мимо бара, Юра заметил у стойки на высоком табурете мощную спину атташе. Рядом высились груды пакетов. Во фри-шопе столкнулся с

послом. На его лице читались знакомые сильные чувства: обида (ну, живут, гады!), гордость (а я вот элита, мне доступно то, что миллионы у нас в Союзе видят лишь в кино да во сне), озабоченность (правильно ли потратил бесценную валюту, не просчитался ли?).

На всех континентах по этой напряженной гримасе, по тревожному, шарящему взгляду легко угадывался соотечественник. Дипломаты, журналисты-международники, сотрудники Внешторга, облетевшие полмира, знали наизусть фри-шопы всех международных транзитных аэропортов, но каждый раз шалели от изобилия, теряли голову, будто попали впервые и больше такого шанса не будет.

Посол уже изрядно отоварился, забил тележку доверху алкоголем и блоками сигарет и теперь сосредоточенно изучал уцененные футболки. Они оба сделали вид, что не заметили друг друга. Один из неписаных законов: нельзя мешать товарищу в такой ответственный момент.

Юра побежал дальше. Вере – ее любимые духи и маленькую театральную сумочку. Маме – вязаный дымчато-серый жакет из мягчайшей пушистой ангорки, легкий и теплый, как оренбургская шаль. Глебу – джинсы. К пятнадцати годам сын, акселерат, догнал его не только ростом, но и объемом талии. Наспех примеряя твердые, как картон, штаны, Юра подумал: «Глеб толстый для своего возраста или я худой для своего? Нет, мы оба нормальные, просто меня Африка подсушила, подкоптила».

Из зеркала в примерочной на него смотрел мрачный, крепко загорелый тип. Нуберрийцы называли белых «мзунгу», то есть «призрак». Для них живой человек не мог иметь такой цвет кожи. Юрин информатор, сотрудник тайной полиции Исса, недавно заметил: «Смотри, ты все меньше похож на мзунгу, скоро станешь совсем живым, из плоти и крови, как мы». Задубевшая коричневая кожа странно контрастировала с голубыми глазами и седым бобриком волос. Лицо напоминало негатив. При беспощадном освещении было особенно заметно, как он изменился. Не то чтобы постарел, скорее огрубел. Все увиденное, пережитое наложило свой темный отпечаток, остудило глаза, сжало губы. Впервые он поймал себя на том, что фри-шоп не вызывает прежней радостной лихорадки. Подарки, шмотки он покупал по инерции, от этого стало грустно и слегка тревожно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.